



АЛЕКСАНДР ГРИН

Романы. Рассказы



Александр Грин

Золотая цепь

I

«Дул ветер...» – написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло:

«Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова: «Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела – Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, – прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать – понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий как щелчки дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух рыжих свирепых чучел.

Моольс сказал:

– Он нашел клад.

– Нет, – возразил Патрик. – Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

– А я слышал, – заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель Гусиная Шея, – что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

– А я думаю, что продал он душу дьяволу, – заявил Болинас, повар, – иначе так сразу не построишь дворцов.

– Не спросить ли у «Головы с дыркой»? – осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), – у Санди Пруэля, который все знает?

Гнусный – о, какой гнусный! – смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие – в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире, – но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, – как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пенек.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

«Почему ему так повезло, – думал я, – почему?...» Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, – с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу» – по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты: разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе «Западного зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое – все мной – стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос – «кто я – мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина» – мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, – она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», – то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина, – что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» – то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неуютно. Выл ветер. – «Вой!» – говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. – «Лей!» – говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, – не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаемое тело...

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась пониже набережной, так что на нее можно было опуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», – ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. – «Ну, кто там?! – громче сказал первый, – в кубрике свет; эй, молодцы!»

Тогда я вылез и увидел – скорее, различил во тьме – двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

– Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал – густо, окладисто, с хрипотой, – что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» – или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

– В таком случае, – заявил спутник высокого человека, – не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик – песня – шепот: «Тайна – очарование! Тайна – очарование!» «Неужели началось?» – спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей – они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, – и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» – подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились – каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, – увы! – имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапогов с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

– Поговорим, молодой друг! – сказал старший. – Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

– Клянусь громом! – ответил я. – Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

– Ну, – сказал первый, – мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного

выпили. – И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял, – так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена или, как мы называли его, «Троячка» – по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

– Сухопутная дорога, – сказал старший, которого звали Дюрок, – отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Скажу прямо, чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, – сколько ты хочешь получить, Санди?

– Так вам надо поговорить со шкипером, – сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колени и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

– Вот твой заработок сегодняшней ночи, – сказал он, – здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива, ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула – стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

– Разве вы его знаете? – изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

– О нет! – сказал Эстамп. – Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

– Плывем... О рай земной! – Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

– В таком случае... Вы, конечно, знаете... Вы не подведете меня, – пробормотал я.

Все переменялось: дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, – два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и, как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет? Не пойму».

– Верно, то, – должен сказать, брат, – это то самое место и есть, – вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая – под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запирали), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

– Клянусь брамселем, – сказал я, – славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

– Что ж, это дело! – сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. – Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

– Отлично, дайте, – донесся ответ. – Я думаю, не опоздаем ли мы?

– А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, – крикнул, полуобернувшись, Дюрок. – Миновали ли мы Флиренский маяк?

– Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

– Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

– В моей семье не было трусов, – сказал я с скромной гордостью. На самом деле никакой семьи у меня не было. – Море и ветер – вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

– Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, – сказал он, подавая мне папиросу, – знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

– Вы должны любить, – ответил я.

– Почему?

– У вас такой вид.

– Никогда не суди по наружности, – сказал, улыбаясь, Дюрок. – Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

– У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых

неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

– Ну, это как сказать, – ответил Дюрок рассеянно. – Боюсь, что нам будет не до тебя. – Он повернулся к окну и крикнул: – Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заочиненные руки, сказал:

– Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

– Что я сделаю? – переспросил я. – Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

– Вот как?! – сказал Эстамп. – А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька – вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, – лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязненькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности, «Томми», – и я басом поправил его, сказав:

– Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? – закричал он в окно. – Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, – но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

– Не дразните мальчика, Эстамп, – ответил Дюрок.

Новое унижение! – от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накиннул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», – сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так

держат!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

– Ну что, – сказал он, хлопая меня по плечу, – вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

– Так это и есть тот дом? – спросил я.

– Да. Ты никогда не бывал здесь?

– Нет.

– Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или роц, расступившихся вокруг черной, огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, – вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил роци.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, – резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

– Что Ганувер? – спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. – Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. – И он объяснил, куда отвести судно. – Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды:

– Ты капитан, что ли? – сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. – У, какой синий! Замерз?

– Черт побери! – сказал я. – И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

– Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

– Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся – словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени – мы прошли дальше – указывали поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

– Пстой-ка, – сказал Том, – я поговорю тут с одним человеком, – и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, – меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара – в другую и пробороздили миндаль рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

– Пойдем-ка, – сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

– Я думаю, нам не помешают, – сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. – Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо, – и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, – так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

– Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

– Ты в лохмотьях, – говорил он, – вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, – прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. – Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову вбок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

– Ты все знаешь? – пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. – Санди! – кричал он, тряся злополучную мою руку. – А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю»!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения – «в чем дело», – а я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». – «Как варят соус тортю?» – «Эй, эй, что у меня в руке?» – «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» – «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» – Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, немного надо, чтобы, забыв все, я рванул в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся – горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

– Кто бросил деньги? – сухо спросил он.

Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

– В самом деле, есть у него на руке эти слова, – сказал Том, – покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

– Соберите ему деньги, – сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. – Это вы написали сами?

– Я был бы последний дурак, – сказал я. – Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

– Так... а все-таки – может быть, хорошо все знать. – Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи – куртка, брюки, сапоги и белье – были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

– Когда вы поужинаете, – сказал Поп, – пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, – прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

– При случае в грязь лицом не ударю, – сказал я, упрятав свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я – на него. Что-то мелькнуло в его глазах, – искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да...» – сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, – я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я попытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю, – и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить „вилку“, выйду и вернусь на „Эспаньолу“, где на всю жизнь случай этот так и останется „случаем“, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно „могшего быть“ и „неразъясненного сущего“». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, – напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, – а, как я сказал, помещение было без двери, – ее заменял сводчатый широкий проход, – несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор, непонятный, но интересный, – вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

– Ну что, опять, говорят, свалился?!

– Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

– Да уж спился.

– Ему пить нельзя; а все пьют, такая компания.

– А эта шельма Дигэ чего смотрит?

– А ей-то что?!

– Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амурь, а может быть, он на ней женится.

– Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».

– Значит – пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

– Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

– Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

– А что? Видел ты что-нибудь?

– Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, – нигде ничего нет.

– Да, поэтому это есть секрет.

– А зачем секрет?

– Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

– Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

– Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел – и он клянется – Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухвертка, и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

– Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне, – спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

– Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей, – я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел вверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

– Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

– Нет, – сказал он, – но я не в духе и буду придираюсь ко всему, что вы мне скажете.

Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, – среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронута чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

– Санди, которого вы желали видеть, – вот он, – затем исчез. Я обернулся – его не было.

– Подойдите-ка сюда, Санди, – устало сказал кто-то. Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, – немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

– Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? – произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. – Они, как приехали на твоём корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, – не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

– Итак, – сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, – ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

– Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! – сказал Ганувер молодой даме. – Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один – нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие

слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

– Волны и эскадрильи! – громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокошущим басом. – Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался – с несколько мрачным лицом – безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

– Что ж, – сказал он, кладя мне на плечо руку, – Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

– Далеко поплывем, – сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, – легонько подсмеиваясь или серьезно – я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

– А помнишь, как ты меня напоил?

– Разве вы напились?

– Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, – «огненная вода», «клянусь Лукрецией», – вскричал он, – честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он «все знает» – честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, – тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах.

Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отпраповал:

– Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмеяться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, – здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, – я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.

– Он мне нравится, – сказал Ганувер, – однако не надо ссориться, Санди.

– Посмотри на меня, – сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. – С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, несколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: «Ба!» – и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

– Экий вы горячий, Санди, – сказал он. – Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть замечен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, – но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, – дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, – значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи с о с т о я н и й отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я впал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

– С вами говорит Ганувер, – сказал Дюрок; встав, я подошел к качалке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

– Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать... – он не договорил, что разбирать. – Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеда. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантьяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

– Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали как команда в игре в солдатики:

– Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое

лицо, имевшее выражение как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках – так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очутившись в библиотеке – круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, – мы стали друг к другу лицом и уставились смотреть, – каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

– Вы отличились, – сказал он, – похитили судно; славная штука, честное слово!

– Едва ли я рисковал, – ответил я, – мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не внакладе. А скажите, почему они так торопились?

– Есть причины! – Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. – Не будем говорить сегодня о библиотеке, – продолжал он, когда я уселся. – Правда, что я за эти дни все запустил, – материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

– Как же, – сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изящного юношу. – Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор»; потом «Всадник без головы»...

– Простите, – перебил он, – я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или, лучше, – послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

– Но где же я и что это за дом?

– Не бойтесь, вы в хороших руках, – сказал Поп. – Имя хозяина Эверест Ганувер, я – его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

– Может ли быть, – вскричал я, – что болтовня на «Мелузине» сушая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

– Могу вас заверить, – сказал Поп, – что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы.

«Творится невероятное», – подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

– Здесь помещаюсь я, – сказал Поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил: – А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах, – сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. – Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

– Я думаю, вы устроитесь, – сказал Поп, оглядывая помещение. – Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

– О да, – сказал я, нервно хихикнув. – Пожалуй, что так. И чемодан и все прочее.

– У вас много вещей? – благосклонно спросил он.

– Как же! – ответил я. – Одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти.

– Пять?... – Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. – Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, – по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза – обед, три раза – ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. – Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: – Алло! Что? Ого, да, здесь новый жилец. – Поп обернулся ко мне: – Что вы желаете?

– Пока ничего, – сказал я с стесненным дыханием. – Как же едят в стене?

– Боже мой! – Он восторженно увидел, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. – Я должен идти. В стене не едят, конечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно, как для вас, так и для слуг... Решительно ухожу, Санди. Итак, вы – на месте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул; перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначительный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история».

Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. Черт побери! – сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажда вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: – кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. – Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением моей душе. Но было тихо.

Я еще не переживал такой тишины – отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, – тридцать пять золотых монет, – но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», – и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался – метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, – новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкап должен был быть полон, – в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, – с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина – догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

– Я хочу взять книгу, – сказала она подчеркнута громко. Они переходили с места на место.

– Но здесь действительно нет никого, – проговорил Галуэй.

– Да. Так вот, – она, словно продолжала оборванный разговор, – это непременно случится.

– Ого!

– Да. В бледных тонах. В виде паутиных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

– Если это не самомнение.

– Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

– Так. Дальше! – сказал Галуэй. – А обещание?

– Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону. – Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. – Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при

удобном случае. Наконец просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание, – продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: – Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.

– Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, – сказал Галуэй. – Что могут они сделать, во всяком случае?!

– Ничего, но это сбивает. Далее я не расслышал.

– Заметь. Однако пойдём, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

– Идиот!

– Я задал неделовой вопрос, только и всего.

– Если хочешь знать. Даже скажу больше, – не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, – страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втуриться совершенно невыгодно.

– В таком случае, – заметил Галуэй, – я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

– То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

– Он влопается.

– Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, – по своей линии.

– Идем. Что ты взяла?

– Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

– Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылуцил из непонятого все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода – куда! – хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится, – безрезультатно. Наконец, я повернул ее влево. И произошло, – ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? – произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах,

и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, – сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, – перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину назовем ликование) – быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно – большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей, – откуда мне знать – каких? – беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие, – более, – глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаюсь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завияло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, – чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты – двери или сторонние проходы, стынущие в немом свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол – серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего

пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения походов в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 50 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор, – они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчился, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевая второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроюсь, что еще слышал сердцебиение.

Однако придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего, – ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрезан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверх тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но, имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом, обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это??! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более диковинные, всплывали снизу, как утыканые гвоздями

пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь как мяч, – все их движения были страшны и дики. Цепенея, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в виде мести за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее – нижняя – была затенена внизу, отделяя сверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

Как было светло там, где я шел раньше, так было светло и здесь, но вид прохода существенно отличался от скрещений нижнего коридора. Этот проход, имея мраморный пол из серых с синими узорами плит, был значительно шире, но заметно короче; его совершенно гладкие стены были полны шнуров, тянувшихся по фарфоровым скрепам, как струны, из конца в конец. Потолок шел стрельчатыми розетками; лампы, блестя в центре клинообразных выемок свода, были в оправе красной меди. Ничем не задерживаясь, я достиг загаживающей проход створчатой двери не совсем обычного вида; она была почти квадратных размеров, а половины ее раздвигались, уходя в стены. За ней оказался род внутренности большого шкапа, где можно было стать троим. Эта клетка, выложенная темным орехом, с небольшим зеленым диванчиком, как показалось мне, должна составлять некий ключ к моему дальнейшему поведению, хотя и загадочный, но все же ключ, так как я никогда не встречал диванчиков там, где, видимо, не было в них нужды; но раз он стоял, то стоял, конечно, ради прямой цели своей, то есть, чтоб на него сели. Нетрудно было сообразить, что сидеть здесь, в тупике, должно лишь ожидая – кого? или чего? – мне это предстояло узнать. Не менее внушительен был над диванчиком ряд белых костяных кнопок. Исходя опять-таки из вполне разумного соображения, что эти кнопки не могли быть устроены для вредных или вообще опасных действий, так что, нажимая их, я могу ошибиться, но никак не рискую своей головой, – я поднял руку, намереваясь произвести опыт...

Совершенно естественно, что в моменты действия с неизвестным воображение торопится предугадать результат, и я, уже нацелив палец, остановил его тыкающее движение, внезапно подумав: не раздастся ли тревога по всему дому, не загремит ли оглушительный звон? Хлопанье дверей, топот бегущих ног, крики: «где? кто? эй! сюда!» – представились мне так отчетливо в окружающей меня совершенной тишине, что я сел на диванчик и закурил. «Нда-с! – сказал я. – Мы далеко ушли, дядюшка Гро, а ведь как раз в это время вы подняли бы меня с жалкого ложа и, согрев тумакон, приказали бы идти стучать в темное окно трактира „Заверни к нам“, чтоб дали бутылку...» Меня восхищало то, что я ничего не понимаю в делах этого дома, в особенности же совершенная неизвестность, как и что произойдет через час, день, минуту, – как в игре. Маятник мыслей моих делал чудовищные размахи, и ему подвертывались всяческие картины, вплоть до появления карликов. Я не отказался бы увидеть процессию карликов – седобородых, в колпаках и мантиях, крадущихся вдоль стены с хитрым огнем в глазах. Тут стало мне жутко; решившись, я встал и мужественно нажал кнопку, ожидая, не откроется ли стена сбоку. Немедленно меня качнуло, клетка с диванчиком поехала вправо так быстро, что мгновенно скрылся коридор и начали мелькать простенки, то запирая меня, то открывая иные проходы, мимо которых я стал кружиться безостановочно, ухватясь за диван руками и тупо смотря перед собой на смену препятствий и перспектив.

Все это произошло в том категорическом темпе машины, против которого ничто не в

состоянии спорить внутри вас, так как протестовать бессмысленно. Я кружился, описывая замкнутую черту внутри обширной трубы, полной стен и отверстий, правильно сменяющих одно другое, и так быстро, что не решался выскочить в какой-нибудь из беспощадно исчезающих коридоров, которые, являсь на момент вровень с клеткой, исчезали, как исчезали, в свою очередь, разделяющие их глухие стены. Вращение было заведено, по-видимому, надолго, так как не уменьшалось и, раз начавшись, пошло гулять, как жернов в ветреный день. Зная способ остановить это катание вокруг самого себя, я немедленно окончил бы наслаждаться сюрпризом, но из девяти кнопок, еще не испробованных мной, каждая представляла шараду. Не знаю, почему представление об остановке связалось у меня с нижней из них, но, решив после того, как начала уже кружиться голова, что невозможно вертеться всю жизнь, – я со злобой прижал эту кнопку, думая: «будь что будет». Немедленно, не останавливая вращения, клетка поползла вверх, и я был вознесен высоко по винтовой линии, где моя тюрьма остановилась, продолжая вертеться в стене с ровно таким же количеством простенков и коридоров. Тогда я нажал третью по счету сверху, – и махнул вниз, но, как заметил, выше, чем это было вначале, и так же неумолимо вертелся на этой высоте, пока не стало тошнить. Я всполошился. Поочередно, почти не сознавая, что делаю, я начал нажимать кнопки как попало, носясь вверх и вниз с проворством парового молота, пока не ткнул – конечно, случайно – ту кнопку, которую требовалось задеть прежде всего. Клетка остановилась как вкопанная против коридора на неизвестной высоте, и я вышел пошатываясь.

Теперь, зная я, как направить обратно вращающийся лифт, я немедленно вернулся бы стучать и ломиться в стену библиотеки, но был не в силах пережить вторично вертящийся плен и направился куда глаза глядят, надеясь встретить хотя какое-нибудь открытое пространство. К тому времени я очень устал. Ум мой был помрачен: где я ходил, как спускался и поднимался, встречая то боковые, то пересекающие ходы, – не дано теперь моей памяти восстановить в той наглядности, какая была тогда; я помню лишь тесноту, свет, повороты и лестницы как одну сверкающую запутанную черту. Наконец, набив ноги так, что пятки горели, я сел в густой тени короткого бокового углубления, не имевшего выхода, и уставился в противоположную стену коридора, где светло и пусто пережидала эту безумную ночь яркая тишина. Назойливо, до головной боли был напряжен тоскующий слух мой, воображая шаги, шорох, всевозможные звуки, но слышал только свое дыхание.

Вдруг далекие голоса заставили меня вскочить – шло несколько человек, с какой стороны, – разобрать я еще не мог; наконец шум, становясь слышнее, стал раздаваться справа. Я установил, что идут двое, женщина и мужчина. Они говорили немногословно, с большими паузами; слова смутно перелетали под сводом, так что нельзя было понять разговор. Я прижался к стене, спиной в сторону приближения, и скоро увидел Ганувера рядом с Дигэ. Оба они были возбуждены. Не знаю, показалось мне это или действительно было так, но лицо хозяина светилось нервной каленой бледностью, а женщина держалась остро и легко, как нож, поднятый для удара.

Естественно, опасаясь быть обнаруженным, я ждал, что они проследуют мимо, хотя искушение выйти и заявить о себе было сильно, – я надеялся остаться снова один, на свой риск и страх и, как мог глубже, ушел в тень. Но, пройдя тупик, где я скрывался, Дигэ и Ганувер остановились – остановились так близко, что, высунув из-за угла голову, я мог видеть их почти против себя.

Здесь разыгралась картина, которой я никогда не забуду.

Говорил Ганувер.

Он стоял, упираясь пальцами левой руки в стену и смотря прямо перед собой, изредка взглядывая на женщину совершенно большими глазами. Правую руку он держал приподнято, поводя ею в такт слов. Дигэ, меньше его ростом, слушала, слегка отвернув наклоненную

голову с печальным выражением лица, и была очень хороша теперь, – лучше, чем я видел ее в первый раз; было в ее чертах человеческое и простое, но как бы обязательное, из вежливости или расчета.

– В том, что неосязуемо, – сказал Ганувер, продолжая о неизвестном. – Я как бы нахожусь среди множества незримых присутствий. – У него был усталый грудной голос, вызывающий внимание и симпатию. – Но у меня словно завязаны глаза, и я пожимаю, – беспрерывно жму множество рук, – до утомления жму, уже перестав различать, жестка или мягка, горяча или холодна рука, к которой я прикасаюсь; между тем я должен остановиться на одной и боюсь, что не угадаю ее.

Он умолк. Дигэ сказала:

– Мне тяжело слышать это.

В словах Ганувера (он был еще хмелен, но держался твердо) сквозило необъяснимое горе. Тогда со мной произошло странное, вне воли моей, нечто, не повторявшееся долго, лет десять, пока не стало натурально свойственным, – это состояние, которое сейчас опишу. Я с т а л п р е д с т а в л я т ь о щ у щ е н и я б е с е д у ю щ и х, не понимая, что держу это в себе, между тем я вбирал их как бы со стороны. В эту минуту Дигэ положила руку на рукав Ганувера, с о р а з м е р я я д л и н у п а у з ы, л о в я, т а к с к а з а т ь, н у ж н о е, н е п р о п у с т и в д о л ж н о г о б и е н и я в р е м е н и, после которого, как ни незаметно мала эта духовная мера, говорить будет у ж е поздно, но и на волос раньше не должно быть сказано. Ганувер молча п р о д о л ж а л в и д е т ь т о м н о ж е с т в о р у к, о к о т о р о м т о л ь к о ч т о г о в о р и л, и думал о руках вообще, когда его взгляд остановился на белой руке Дигэ с представлением пожатия. Как ни был краток этот взгляд, о н н е м е д л е н н о о т о з в а л с я в в о о б р а ж е н и и Д и г э ф и з и ч е с к и м п р и к о с н о в е н и е м е е л а д о н и к т а и н с т в е н н о й н е в и д и м о й с т р у н е: разом поймав такт, она сняла с рукава Ганувера свою руку и, протянув ее вверх ладонью, сказала ясным убедительным голосом:

– Вот эта рука!

Как только она это сказала – мое тройное ощущение за себя и других кончилось. Теперь я видел и понимал только то, что видел и слышал. Ганувер, взяв руку женщины, медленно всматривался в ее лицо, как ради опыта читаем мы на расстоянии печатный лист – угадывая, местами прочтя или пропуская слова, с тем, что, связав угаданное, поставим тем самым в линию смысла и то, что не разобрали. Потом он нагнулся и поцеловал руку – без особого увлечения, но очень серьезно, сказав:

– Благодарю. Я верно понял вас, добрая Дигэ, и я не выхожу из этой минуты. Отдадимся течению.

– Отлично, – сказала она, развеселясь и краснея, – мне очень, очень жаль вас. Без любви... это странно и хорошо.

– Без любви, – повторил он, – быть может, она придет... Но и не придет – если что...

– Ее заменит близость. Близость вырастает потом. Это я знаю.

Наступило молчание.

– Теперь, – сказал Ганувер, – ни слова об этом. Все в себе. Итак, я обещал вам показать зерно, из которого вышел. Отлично. Я – Аладдин, а эта стена – ну, что вы думаете, – что это за стена? – Он как будто развеселился, стал улыбаться. – Видите ли вы здесь дверь?

– Нет, я не вижу здесь двери, – ответила, забавляясь ожиданием, Дигэ. – Но я знаю, что она

есть.

– Есть, – сказал Ганувер. – И так... – Он поднял руку, что-то нажал, и невидимая сила подняла вертикальный стенной пласт, открыв вход. Как только мог, я вытянул шею и нашел, что она гораздо длиннее, чем я до сих пор думал. Выпучив глаза и выставив голову, я смотрел внутрь нового тайника, куда вошли Ганувер и Дигэ. Там было освещено. Как скоро я убедился, они вошли не в проход, а в круглую комнату; правая часть ее была от меня скрыта, – по той косой линии направления, как я смотрел, но левая сторона и центр, где остановились эти два человека, предстали недалеко от меня, так что я мог слышать весь разговор.

Стены и пол этой комнаты – камеры без окон – были обтянуты лиловым бархатом, с узором по стене из тонкой золотой сетки с клетками шестигранной формы. Потолка я не мог видеть. Слева у стены на узорном золотистом столбе стояла черная статуя: женщина с завязанными глазами, одна нога которой воздушно касалась пальцами колеса, украшенного по сторонам оси крыльями, другая, приподнятая, была отнесена назад. Внизу свободно раскинутыми петлями лежала сияющая желтая цепь средней якорной толщины, каждое звено которой было, вероятно, фунтов в двадцать пять весом. Я насчитал около двенадцати оборотов, длиной каждый от пяти до семи шагов, после чего должен был с болью закрыть глаза, – так сверкал этот великолепный трос, чистый, как утренний свет, с жаркими бесцветными точками по месту игры лучей. Казалось, дымится бархат, не вынося ослепительного горения. В ту же минуту тонкий звон начался в ушах, назойливый, как пение комара, и я догадался, что это – золото, чистое золото, брошенное к столбу женщины с завязанными глазами.

– Вот она, – сказал Ганувер, засовывая руки в карманы и толкая носком тяжело отодвинувшееся двойное кольцо. – Сто сорок лет под водой. Ни ржавчины, ни ракушек, как и должно быть. Пирон был затейливый буканьер. Говорят, что он возил с собой поэта Касторуччио, чтобы тот описывал стихами все битвы и попойки; ну и красавиц, разумеется, когда они попадались. Эту цепь он выковывал в 1777 году, за пять лет перед тем, как его повесили. На одном из колец, как видите, сохранилась надпись: «6 апреля 1777 года, волей Иеронима Пирона».

Дигэ что-то сказала. Я слышал ее слова, но не понял. Это была строка или отрывок стихотворения.

– Да, – объяснил Ганувер, – я был, конечно, беден. Я давно слышал рассказ, как Пирон отрубил эту золотую цепь вместе с якорем, чтобы удрать от английских судов, настигших его внезапно. Вот и следы, – видите, здесь рубили, – он присел на корточки и поднял конец цепи, показывая разрубленное звено. – Случай или судьба, как хотите, заставили меня купаться очень недалеко отсюда, рано утром. Я шел по колено в воде, все дальше от берега, на глубину и споткнулся, задев что-то твердое большим пальцем ноги. Я наклонился и вытащил из песка, подняв муть, эту сияющую тяжеловесную цепь до половины груди, но, обессилев, упал вместе с ней. Одна только гагара, покачиваясь в зыби, смотрела на меня черным глазом, думая, может быть, что я поймал рыбину. Я был блаженно пьян. Я снова зарыл цепь в песок и приметил место, выложив на берегу ряд камней, по касательной моему открытию линии, а потом перенес находку к себе, работая пять ночей.

– Один?! Какая сила нужна!

– Нет, вдвоем, – сказал Ганувер, помолчав. – Мы распиливали ее на куски по мере того, как вытягивали, обыкновенной ручной пилой. Да, руки долго болели. Затем переносили в ведрах, сверху присыпав ракушками. Длилось это пять ночей, и я не спал эти пять ночей, пока не разыскал человека настолько богатого и надежного, чтобы взять весь золотой груз в заклад, не проболтавшись при этом. Я хотел сохранить ее. Моя... Мой компаньон по перетаскиванию танцевал ночью, на берегу, при лунном...

Он замолчал. Хорошая, задумчивая улыбка высекла свет в его расстроенном лице, и он стер ее, проведя от лба вниз ладонью.

Дигэ смотрела на Ганувера молча, прикусив губу. Она была очень бледна и, опустив взгляд к цепи, казалось, отсутствовала, так не к разговору выглядело ее лицо, похожее на лицо слепой, хотя глаза отбрасывали тысячи мыслей.

– Ваш... компаньон, – сказала она очень медленно, – оставил всю цепь вам?

Ганувер поднял конец цепи так высоко и с такой силой, какую трудно было предположить в нем, затем опустил.

Трос грохнулся тяжелой струей.

– Я не забывал о нем. Он умер, – сказал Ганувер, – это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. Дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться как он хочет моими деньгами, чтоб самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что возросло до пятнадцати миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалял мое золото, где хотел – в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении и... я уже забыл где. Я только получал телеграммы. Как это вам нравится?

– Счастливая цепь, – сказала Дигэ, нагибаясь и пробуя приподнять конец троса, но едва пошевелила его. – Не могу.

Она выпрямилась, Ганувер сказал:

– Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор как я выкупил ее и спаял, вы – первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем, и я закрою эту золотую змею.

Он повернулся, думая, что она идет, но, взглянув и уже отойдя, позвал снова:

– Дигэ!

Она стояла, смотря на него пристально, но так рассеянно, что Ганувер с недоумением опустил протянутую к ней руку. Вдруг она закрыла глаза, – сделала усилие, но не двинулась. Из-под ее черных ресниц, поднявшихся страшно тихо, дрожа и сверкая, выполз помраченный взгляд – странный и глухой блеск; только мгновение сиял он. Дигэ опустила голову, тронула глаза рукой и, вздохнув, выпрямилась, пошла, но пошатнулась, и Ганувер поддержал ее, вглядываясь с тревогой.

– Что с вами? – спросил он.

– Ничего, так. Я... я представила трупы; людей, привязанных к цепи; пленников, которых опускали на дно.

– Это делал Морган, – сказал Ганувер, – Пирон не был столь жесток, и легенда рисует его, скорее, пьяницей-чудаком, чем драконом.

Они вышли, стена опустилась и стала на свое место, как если бы никогда не была потревожена. Разговаривавшие ушли в ту же сторону, откуда явились. Немедленно я вознамерился взглянуть им вслед, но... хотел ступить и не мог. Ноги окоченели, не повиновались. Я как бы отсидел их в неудобном положении. Вертясь на одной ноге, я поднял кое-как другую и переставил ее, она была тяжела и опустилась как на подушку, без ощущения. Проволочив к ней вторую ногу, я убедился, что могу идти так со скоростью десяти футов в минуту. В глазах стоял золотой блеск, волнами поражая зрачки. Это состояние

околдованности длилось минуты три и исчезло так же внезапно, как появилось. Тогда я понял, почему Дигэ закрыла глаза, и припомнил чей-то рассказ о мелком чиновнике-французе в подвалах Национального банка, который, похोдив среди груд золотых болванок, не мог никак уйти, пока ему не дали стакан вина.

– Так вот что, – бессмысленно твердил я, выйдя наконец из засады и бродя по коридору. Теперь я видел, что был прав, пустившись делать открытия. Женщина заберет Ганувера, и он на ней женится. Золотая цепь извивалась предо мной, ползая по стенам, путалась в ногах. Надо узнать, где он купался, когда нашел трос; кто знает – не осталось ли там и на мою долю? Я вытащил свои золотые монеты. Очень, очень мало! Моя голова кружилась. Я блуждал, с трудом замечая, где, как поворачиваю, иногда словно проваливался, плохо сознавал, о чем думаю, и шел, сам себе посторонний, уже устав надеяться, что наступит конец этим скитаниям в тесноте, свете и тишине. Однако моя внутренняя тревога была, надо думать, сильна, потому что сквозь бред усталости и выжженного ею волнения я остановился, – резко, как над пропастью, представил, что я заперт и заблудился, а ночь длится. Не страх, но совершенное отчаяние, полное бесконечного равнодушия к тому, что меня здесь накроют, владело мной, когда, почти падая от изнурения, подкравшегося всесильно, я остановился у тупика, похожего на все остальные, лег перед ним и стал бить в стену ногами так, что эхо, завыв гулом, пошло грохотать по всем пространствам, вверху и внизу.

VII

Я не удивился, когда стена сошла с своего места и в яркой глубине обширной, роскошной комнаты я увидел Попа, а за ним – Дюрока в пестром халате. Дюрок поднял, но тотчас опустил револьвер, и оба бросились ко мне, втаскивая меня за руки, за ноги, так как я не мог встать. Я опустился на стул, смеясь и изо всей силы хлопая себя по колену.

– Я вам скажу, – проговорил я, – они женятся! Я видел! Та молодая женщина и ваш хозяин. Он был подвыпивши. Ей-богу! Поцеловал руку. Честь честью! Золотая цепь лежит там, за стеной, сорок поворотов через сорок проходов. Я видел. Я попал в шкаф и теперь судите, как хотите, но вам, Дюрок, я буду верен, и баста!

У самого своего лица я увидел стакан с вином. Стекло лязгало о зубы. Я выпил вино, во тьме свалившегося на меня сна еще не успев разобрать, как Дюрок сказал:

– Это ничего, Поп! Санди получил свою порцию; он утолил жажду необычайного. Бесполезно говорить с ним теперь.

Казалось мне, когда я очнулся, что момент потери сознания был краток, и шкипер немедленно стащит с меня куртку, чтоб холод заставил быстрее вскочить. Однако не исчезло ничто за время сна. Дневной свет заглядывал в щели гардин. Я лежал на софе. Попа не было. Дюрок ходил по ковру, нагнув голову, и курил.

Открыв глаза и осознав отлетевшее, я снова закрыл их, придумывая, как держаться, так как не знал, обдадут меня бранью или все благополучно сойдет. Я понял все-таки, что лучшее – быть самим собой. Я сел и сказал Дюроку, в спину:

– Я виноват.

– Санди, – сказал он, встрепенувшись и садясь рядом, – виноват-то ты виноват. Засыпая, ты бормотал о разговоре в библиотеке. Это для меня очень важно, и я поэтому не сержусь. Но слушай: если так пойдет дальше, ты действительно будешь все знать. Рассказывай, что было

с тобой.

Я хотел встать, но Дюрок толкнул меня в лоб ладонью, и я опять сел. Дикий сон клубился еще во мне. Он стягивал клещами суставы и выламывал скулы зевотой; и сладость, не утоленная сладость мякла во всех членах. Поспешно собрав мысли, а также закулив, что было моей утренней привычкой, я рассказал, припомнив, как мог точнее, разговор Галуэя с Дигэ. Ни о чем больше так не расспрашивал и не переспрашивал меня Дюрок, как об этом разговоре.

– Ты должен благодарить счастливый случай, который привел тебя сюда, – заметил он наконец очень, по-видимому, озабоченный, – впрочем, я вижу, что тебе везет. Ты выспался?

Дюрок не расслышал моего ответа: задумавшись, он тревожно тер лоб; потом встал, снова начал ходить. Каминные часы указывали семь с половиной. Солнце резнуло накуренный воздух из-за гардины тонким лучом. Я сидел, осматриваясь. Великолепие этой комнаты, с зеркалами в рамах слоновой кости, мраморной облицовкой окон, резной, затейливой мебелью, цветной шелк, улыбки красоты в сияющих золотом и голубой далью картинах, ноги Дюрока, ступающие по мехам и коврам, – все это было чрезмерно для меня, оно утомляло. Лучше всего дышалось бы мне теперь жмурясь под солнцем на острый морской блеск. Все, на что я смотрел, восхищало, но было непривычно.

– Мы поедem, Санди, – сказал, перестав ходить, Дюрок, – потом... но что предисловие: хочешь отправиться в экспедицию?...

Думая, что он предлагает Африку или другое какое место, где приключения неистощимы, как укусы комаров среди болот, я сказал со всей поспешностью:

– Да! Тысячу раз – да! Клянусь шкурой леопарда, я буду всюду, где вы.

Говоря это, я вскочил. Может быть, он угадал, что я думаю, так как устало рассмеялся.

– Не так далеко, как ты, может быть, хочешь, но – в «страну человеческого сердца». В страну, где темно.

– О, я не понимаю вас, – сказал я, не отрываясь от его сжатого, как тиски, рта, надменного и снисходительного, от серых резких глаз под суровым лбом. – Но мне, право, все равно, если это вам нужно.

– Очень нужно, – потому что мне кажется, – ты можешь пригодиться, и я уже вчера присматривался к тебе. Скажи мне, сколько времени надо плыть к Сигнальному Пустырю?

Он спрашивал о предместье Лисса, называвшемся так со старинных времен, когда города почти не было, а на каменных столбах мыса, окрещенного именем «Сигнальный Пустырь», горели ночью смоляные бочки, зажигающиеся с разрешения колониальных отрядов, как знак, что суда могут войти в Сигнальную бухту. Ныне Сигнальный Пустырь был довольно населенное место со своей таможней, почтой и другими подобными учреждениями.

– Думаю, – сказал я, – что полчаса будет достаточно, если ветер хорош. Вы хотите ехать туда?

Он не ответил, вышел в соседнюю комнату и, провозясь там порядочно времени, вернулся, одетый как прибрежный житель, так что от его светского великолепия осталось одно лицо. На нем была кожаная куртка с двойными обшлагами, красный жилет с зелеными стеклянными пуговицами, узкая лакированная шляпа, напоминающая опрокинутый на сковороду котелок; вокруг шеи – клетчатый шарф, а на ногах – поверх коричневых, верблюжьего сукна брюк, – мягкие сапоги с толстой подошвой. Люди в таких вот нарядах, как я видел много раз, держат за жилетную пуговицу какого-нибудь раскрашенного вином капитана, стоя под солнцем на

набережной среди протянутых канатов и рядов бочек, и рассказывают ему, какие есть выгодные предложения от фирмы «Купи в долг» или «Застрахуй без нужды».

Пока я дивился на него, не смея, конечно, улыбнуться или отпустить замечание, Дюрок подошел к стене между окон и потянул висячий шнурок. Часть стены тотчас вывалилась полукругом, образовав полку с углублением за ней, где вспыхнул свет; за стеной стало жужжать, и я не успел толком сообразить, что произошло, как вровень с упавшей полкой поднялся из стены род стола, на котором были чашки, кофейник с горячей под ним спиртовой лампочкой, булки, масло, сухари и закуски из рыбы и мяса, приготовленные, должно быть, руками кухонного волшебного духа, – столько поджаристости, масла, шипенья и аромата я ощутил среди белых блюд, украшенных рисунком зеленоватых цветов. Сахарница напоминала серебряное пирожное. Ложки, щипцы для сахара, салфетки в эмалированных кольцах и покрытый золотым плетеньем из мельчайших виноградных листьев карминовый графин с коньяком – все явилось, как солнце из туч. Дюрок стал переносить посланное магическими существами на большой стол, говоря:

– Здесь можно обойтись без прислуги. Как видишь, наш хозяин устроился довольно затейливо, а в данном случае просто остроумно. Но поторопимся.

Видя, как он быстро и ловко ест, наливая себе и мне из трепещущего по скатерти розовыми зайчиками графина, я сбился в темпе, стал ежеминутно ронять то нож, то вилку; одно время стеснение едва не замучило меня, но аппетит превозмог, и я управился с едой очень быстро, применив ту уловку, что я будто бы тороплюсь больше Дюрока. Как только я перестал обращать внимание на свои движения, дело пошло как нельзя лучше, я хватал, жевал, глотал, отбрасывал, запивал и остался очень доволен собой. Жуя, я не переставал обдумывать одну штуку, которую не решался сказать, но сказать очень хотел и, может быть, не сказал бы, но Дюрок заметил мой упорный взгляд.

– В чем дело? – сказал он рассеянно, далекий от меня, где-то в своих горных вершинах.

– Кто вы такой? – спросил я и про себя ахнул. «Случилось-таки! – подумал я с горечью. – Теперь держись, Санди!»

– Я?! – сказал Дюрок с величайшим изумлением, устремив на меня взгляд серый как сталь. Он расхохотался и, видя, что я оцепенел, прибавил: – Ничего, ничего! Однако я хочу посмотреть, как ты задашь такой же вопрос Эстампу. Я отвечу твоему простосердечию. Я – шахматный игрок.

О шахматах я имел смутное представление, но поневоле удовлетворился этим ответом, смешав в уме шашечную доску с игральными костями и картами. «Одним словом – игрок!» – подумал я, ничуть не разочаровавшись ответом, а, напротив, укрепив свое восхищение. Игрок – значит молодчище, хват, рискованный человек. Но, будучи поощрен, я вознамерился спросить что-то еще, как портьера откинулась, и вошел Поп.

– Герои спят, – сказал он хрипло; был утомлен, с бледным, бессонным лицом, и тотчас тревожно уставился на меня. – Вторые лица все на ногах. Сейчас придет Эстамп. Держу пари, что он отправится с вами. Ну, Санди, ты отколол штуку, и твое счастье, что тебя не заметили в тех местах. Ганувер мог тебя просто убить. Боже сохрани тебя болтать обо всем этом! Будь на нашей стороне, но молчи, раз уж попал в эту историю. Так что же было с тобой вчера?

Я опять рассказал о разговоре в библиотеке, о лифте, аквариуме и золотой цепи.

– Ну, вот видите! – сказал Поп Дюроку. – Человек с отчаяния способен на все. Как раз третьего дня он сказал при мне этой самой Дигэ: «Если все пойдет в том порядке, как идет сейчас, я буду вас просить сыграть самую эффектную роль». Ясно, о чем речь. Все глаза

будут обращены на нее, и она своей автоматической, узкой рукой соединит ток.

– Так. Пусть соединит! – сказал Дюрок. – Хотя... да, я понимаю вас.

– Конечно! – горячо подхватил Поп. – Я положительно не видел такого человека, который так верил бы, был бы так убежден. Посмотрите на него, когда он один. Жутко станет. Санди, отправляйтесь к себе. Впрочем, вы опять запутаетесь.

– Оставьте его, – сказал Дюрок, – он будет нужен.

– Не много ли? – Поп стал водить глазами от меня к Дюроку и обратно. – Впрочем, как знаете.

– Что за советы без меня? – сказал, появляясь, сверкающий чистотой Эстамп. – Я тоже хочу. Куда это вы собрались, Дюрок?

– Надо попробовать. Я сделаю попытку, хотя не знаю, что из этого выйдет.

– А! Вылазка в трепещущие траншеи! Ну, когда мы появимся – два таких молодца, как вы да я, – держу сто против одиннадцати, что не устоит даже телеграфный столб! Что?! Уже ели? И выпили? А я еще нет? Как вижу, – капитан с вами и суемудрствует. Здорово, капитан Санди! Ты, я слышал, закладывал всю ночь мины в этих стенах?!

Я фыркнул, так как не мог обидеться.

Эстамп присел к столу, хозяйничая и накладывая в рот что попало, также облегчая графин. – Послушайте, Дюрок, я с вами!

– Я думал, вы останетесь пока с Ганувером, – сказал Дюрок. – Вдобавок при таком щекотливом деле...

– Да, – вовремя вернуть слово!

– Нет. Мы можем смутить...

– И развеселить! За здоровье этой упрямой гусеницы!

– Я говорю серьезно, – настаивал Дюрок, – мне больше нравится мысль провести дело не так шумно.

– ...как я ем! – Эстамп поднял упавший нож.

– Судя по всему, что я знаю, – вставил Поп, – Эстамп очень вам пригодится.

– Конечно! – вскричал молодой человек, подмигивая мне. – Вот и Санди вам скажет, что я прав. Зачем мне вламываться в ваш деликатный разговор? Мы с Санди присядем где-нибудь в кусточках, мух будем ловить... ведь так, Санди?

– Если вы говорите серьезно, – ответил я, – я скажу вот что: раз дело опасное, всякий человек может быть только полезен.

– Что? Дюрок, слышите голос капитана? Как он это изрек!

– А почему вы думаете об опасности? – серьезно спросил Поп.

Теперь я ответил бы, что опасность была необходима для душевного моего спокойствия. «Пылающий мозг и холодная рука» – как поется в песне о Пелегрине. Я сказал бы еще, что от всех этих слов и недомолвок, приготовлений, переодеваний и золотых цепей веет

опасностью точно так же, как от молока – скукой, от книги – молчанием, от птицы – полетом, но тогда все неясное было мне ясно без доказательств.

– Потому что такой разговор, – сказал я, – и клянусь гандшпугом, нечего спрашивать того, кто меньше всех знает. Я спрашивать не буду. Я сделаю свое дело, сделаю все, что вы хотите.

– В таком случае вы переоденетесь, – сказал Дюрок Эстампу. – Идите ко мне в спальню, там есть кое-что. – И он увел его, а сам вернулся и стал говорить с Попом на языке, которого я не знал.

Не знаю, что будут они делать на Сигнальном Пустыре, я тем временем побывал там мысленно, как бывал много раз в детстве. Да, я там дрался с подростками и ненавидел их манеру тыкать в глаза растопыренной пятерней. Я презирал эти жестокие и бесчеловечные уловки, предпочитая верный, сильный удар в подбородок всем тонкостям хулиганского измышления. О Сигнальном Пустыре ходила поговорка: «На пустыре и днем – ночь». Там жили худые, жилистые бледные люди с бесцветными глазами и перекошенным ртом. У них были свои нравы, мировоззрения, свой странный патриотизм. Самые ловкие и опасные воры водились на Сигнальном Пустыре, там же процветали пьянство, контрабанда и шайки – целые товарищества взрослых парней, имевших каждое своего предводителя. Я знал одного матроса с Сигнального Пустыря – это был одутловатый человек с глазами в виде двух острых треугольников; он никогда не улыбался и не расставался с ножом. Установилось мнение, которое никто не пытался опровергнуть, что с этими людьми лучше не связываться. Матрос, о котором я говорю, относился презрительно и с ненавистью ко всему, что не было на Пустыре, и, если с ним спорили, неприятно бледнел, улыбаясь так жутко, что пропадала охота спорить. Он ходил всегда один, медленно, едва покачиваясь, руки в карманы, пристально оглядывая и провожая взглядом каждого, кто сам задерживал на его припухшем лице свой взгляд, как будто хотел остановить, чтобы слово за слово начать свару. Вечным припевом его было: «У нас там...», «Мы не так», «Что нам до этого», – и все такое, отчего казалось, что он родился за тысячи миль от Лисса, в упрямой стране дураков, где, выпячивая грудь, ходят хвастуны с ножами за пазухой.

Немного погодя явился Эстамп, разряженный в синий китель и синие штаны кочегара, в потрепанной фуражке; он прямо подошел к зеркалу, оглядев себя с ног до головы.

Эти переодевания очень интересовали меня, однако смелости не хватило спросить, что будем мы делать трое на Пустыре. Казалось, предстоят отчаянные дела. Как мог, я держался сурово, нахмуренно поглядывая вокруг с значительным видом. Наконец Поп объявил, что уже девять часов, а Дюрок – что надо идти, и мы вышли в светлую тишину пустынных, великолепных стен, прошли сквозь набегающие сияния перспектив, в которых терялся взгляд; потом вышли к винтовой лестнице. Иногда в большом зеркале я видел себя, то есть невысокого молодого человека, с гладко зачесанными назад темными волосами. По-видимому, мой наряд не требовал перемены, он был прост: куртка, простые новые башмаки и серое кепи.

Я заметил, когда пожил довольно, что наша память лучше всего усваивает прямое направление, например, улицу; однако представление о скромной квартире (если она не ваша), когда вы побыли в ней всего один раз, а затем пытаетесь припомнить расположение предметов и комнат, – есть наполовину собственные ваши упражнения в архитектуре и обстановке, так что, посетив снова то место, вы видите его иначе. Что же сказать о гигантском здании Ганувера, где я, разрываемый непривычкой и изумлением, метался как стрекоза среди огней ламп, – в сложных и роскошных пространствах? Естественно, что я смутно запомнил те части здания, где была нужда самостоятельно вникать в них, там же, где я шел за другими, я запомнил лишь, что была путаница лестниц и стен.

Когда мы спустились по последним ступеням, Дюрок взял от Попа длинный ключ и вставил

его в замок узорной железной двери; она открылась на полутемный канал с каменным сводом. У площадки, среди других лодок, стоял парусный бот, и мы влезли в него. Дюрок торопился; я, правильно заключив, что предстоит спешное дело, сразу взял весла и развязал парус. Поп передал мне револьвер; спрятав его, я раздулся от гордости, как гриб после дождя. Затем мои начальники махнули друг другу руками. Поп ушел, и мы вышли на веслах в тесноте сырых стен на чистую воду, пройдя под конец каменную арку, заросшую кустами. Я поднял парус. Когда бот отошел от берега, я догадался, отчего выплыли мы из этой крысиной гавани, а не от пристани против дворца: здесь нас никто не мог видеть.

VIII

В это жаркое утро воздух был прозрачен, поэтому против нас ясно виднелась линия строений Сигнального Пустыря. Бот взял с небольшим ветром приличный ход. Эстамп правил на точку, которую ему указал Дюрок; затем все мы закурили, и Дюрок сказал мне, чтобы я крепко молчал не только обо всем том, что может произойти в Пустыре, но чтобы молчал даже и о самой поездке.

– Выворачивайся как знаешь, если кто-нибудь пристанет с расспросами, но лучше всего скажи, что был отдельно, гулял, а про нас ничего не знаешь.

– Солгу, будьте спокойны, – ответил я, – и вообще положитесь на меня окончательно. Я вас не подведу.

К моему удивлению, Эстамп меня более не дразнил. Он с самым спокойным видом взял спички, которые я ему вернул, даже не подмигнул, как делал при всяком удобном случае; вообще он был так серьезен, как только возможно для его характера. Однако ему скоро надоело молчать, и он стал скороговоркой читать стихи, но, заметив, что никто не смеется, вздохнул, о чем-то задумался.

В то время Дюрок расспрашивал меня о Сигнальном Пустыре.

Как я скоро понял, его интересовало знать, чем занимаются жители Пустыря и верно ли, что об этом месте отзываются неодобрительно.

– Отъявленные головорезы, – с жаром сказал я, – мошенники, не приведи бог! Опасное население, что и говорить. – Если я сократил эту характеристику в сторону устрашительности, то она была все же на три четверти правдой, так как в тюрьмах Лисса восемьдесят процентов арестантов родились на Пустыре. Большинство гулящих девок являлось в кабаки и кофейные оттуда же. Вообще, как я уже говорил, Сигнальный Пустырь был территорией жестоких традиций и странной ревности, в силу которой всякий нежитель Пустыря являлся подразумеваемым и естественным врагом. Как это произошло и откуда повело начало, трудно сказать, но ненависть к городу, горожанам в сердцах жителей Пустыря пустила столь глубокие корни, что редко кто, переехав из города в Сигнальный Пустырь, мог там ужиться. Я там три раза дрался с местной молодежью без всяких причин только потому, что я был из города и парни «задирали» меня.

Все это с небольшим умением и без особой грации я изложил Дюроку, недоумевая, какое значение могут иметь для него сведения о совершенно другом мире, чем тот, в котором он жил.

Наконец, он остановил меня, начав говорить с Эстампом. Было бесполезно прислушиваться, так как я понимал слова, но не мог осветить их никаким достоверным смыслом. «Запутанное

положение», – сказал Эстамп. «Которое мы распутаем», – возразил Дюрок. «На что вы надеетесь?» – «На то же, на что надеялся он». – «Но там могут быть причины серьезнее, чем вы думаете». – «Все узнаем!» – «Однако, Дигэ...» Я не расслышал конца фразы. «Эх, молоды же вы!» – «Нет, правда, – настаивал на чем-то Эстамп, – правда то, что нельзя подумать». – «Я судил не по ней, – сказал Дюрок, – я, может быть, ошибся бы сам, но психический аромат Томсона и Галуэя довольно ясен».

В таком роде размышлений вслух о чем-то хорошо им известном разговор этот продолжался до берега Сигнального Пустыря. Однако я не разыскал в разговоре никаких объяснений происходящего. Пока что об этом некогда было думать теперь, так как мы приехали и вышли, оставив Эстампа стеречь лодку. Я не заметил у него большой охоты к бездействию. Они условились так: Дюрок должен прислать меня, как только выяснится дальнейшее положение неизвестного дела, с запиской, прочтя которую Эстамп будет знать, оставаться ли ему сидеть в лодке или присоединиться к нам.

– Однако почему вы берете не меня, а этого мальчика? – сухо спросил Эстамп. – Я говорю серьезно. Может произойти сдвиг в сторону рукопашной, и вы должны признать, что на весах действия я кое-что значу.

– По многим соображениям, – ответил Дюрок. – В силу этих соображений, пока что я должен иметь послушного живого подручного, но не равноправного, как вы.

– Может быть, – сказал Эстамп. – Санди, будь послушен. Будь жив. Смотри у меня!

Я понял, что он в досаде, но пренебрег, так как сам чувствовал бы себя тускло на его месте.

– Ну, идем, – сказал мне Дюрок, и мы пошли, но должны были на минуту остановиться.

Берег в этом месте представлял каменистый спуск, с домами и зеленью наверху. У воды стояли опрокинутые лодки, сушились сети. Здесь же бродило несколько человек, босиком, в соломенных шляпах. Стоило взглянуть на их бледные заросшие лица, чтобы немедленно замкнуться в себе. Оставив свои занятия, они стали на некотором от нас расстоянии, наблюдая, что мы такое и что делаем, и тихо говоря между собой. Их пустые, прищуренные глаза выражали явную неприязнь.

Эстамп, отплыв немного, стал на якорь и смотрел на нас, свесив руки между колен. От группы людей на берегу отделился долговязый человек с узким лицом; он, помахав рукой, крикнул:

– Откуда, приятель?

Дюрок миролюбиво улыбнулся, продолжая молча идти, рядом с ним шагал я. Вдруг другой парень, с придурковатым, наглым лицом, стремительно побежал на нас, но, не добежав шагов пяти, замер как вкопанный, хладнокровно сплюнул и поскакал обратно на одной ноге, держа другую за пятку.

Тогда мы остановились. Дюрок повернул к группе оборванцев и, положив руки в карманы, стал молча смотреть. Казалось, его взгляд разогнал сборище. Похохотав между собой, люди эти вернулись к своим сетям и лодкам, делая вид, что более нас не замечают. Мы поднялись и вошли в пустую узкую улицу.

Она тянулась меж садов и одноэтажных домов из желтого и белого камня, нагретого солнцем. Бродили петухи, куры с дворов, из-за низких песчаниковых оград слышались голоса – смех, брань, надоедливый, протяжный зов. Лаяли собаки, петухи пели. Наконец стали попадаться прохожие: крючковатая старуха, подростки, пьяный человек, шедший, опустив голову, женщины с корзинами, мужчины на подводах. Встречные взглядывали на нас слегка расширенными глазами, проходя мимо, как всякие другие прохожие, но, миновав некоторое

расстояние, останавливались: обернувшись, я видел их неподвижные фигуры, смотрящие вслед нам сосредоточенно и угрюмо. Свернув в несколько переулков, где иногда переходили по мостикам над оврагами, мы остановились у тяжелой калитки. Дом был внутри двора; спереди же, на каменной ограде, через которую я мог заглянуть внутрь, висели тряпки и циновки, сушившиеся под солнцем.

– Вот здесь, – сказал Дюрок, смотря на черепичную крышу, – это тот дом. Я узнал его по большому дереву во дворе, как мне рассказывали.

– Очень хорошо, – сказал я, не видя причины говорить что-нибудь другое.

– Ну, идем, – сказал Дюрок, и я ступил следом за ним во двор.

В качестве войска я держался на некотором расстоянии от Дюрока, а он прошел к середине двора и остановился, оглядываясь. На камне у одного порога сидел человек, чиня бочонок; женщина развешивала белье. У помойной ямы тужился, кряхтя, мальчик лет шести, – увидев нас, он встал и мрачно натянул штаны.

Но лишь мы явились, любопытство обнаружилось моментально. В окнах показались забавные головы; женщины, раскрыв рот, выскочили на порог и стали смотреть так настойчиво, как смотрят на почтальона.

Дюрок, осмотревшись, направился к одноэтажному флигелю в глубине двора. Мы вошли под тень навеса, к трем окнам с белыми занавесками. Огромная рука приподняла занавеску, и я увидел толстый, как у быка, глаз, расширивший сонные веки свои при виде двух чужих.

– Сюда, приятель? – сказал глаз. – Ко мне, что ли?

– Вы – Варрен? – спросил Дюрок.

– Я – Варрен; что хотите?

– Ничего особенного, – сказал Дюрок самым спокойным голосом. – Если здесь живет девушка, которую зовут Молли Варрен, и если она дома, я хочу ее видеть.

Так и есть! Так я и знал, что дело идет о женщине, – пусть она девушка, все едино! Ну, скажите, отчего это у меня было совершенно непоколебимое предчувствие, что, как только уедем, явится женщина? Недаром слова Эстампа «упрямая гусеница» заставили меня что-то подозревать в этом роде. Только теперь я понял, что угадал то, чего ждал.

Глаз сверкнул, изумился и потеснился дать место второму глазу, оба глаза не предвещали, судя по выражению их, радостной встречи. Рука отпустила занавеску, кивнув пальцем.

– Зайдите-ка, – сказал этот человек сдавленным ненатуральным голосом, тем более неприятным, что он был адски спокоен. – Зайдите, приятель!

Мы прошли в небольшой коридор и стукнули в дверь налево.

– Войдите, – повторил нежно тот же спокойный голос, и мы очутились в комнате. Между окном и столом стоял человек в нижней рубашке и полосатых брюках, – человек так себе, среднего роста, не слабый, по-видимому, с темными гладкими волосами, толстой шеей и перебитым носом, конец которого торчал как сучок. Ему было лет тридцать. Он заводил карманные часы, а теперь приложил их к уху.

– Молли? – сказал он.

Дюрок повторил, что хочет видеть Молли. Варрен вышел из-за стола и стал смотреть в упор

на Дюрока.

– Бросьте вашу мысль, – сказал он. – Оставьте вашу затею. Она вам не пройдет даром.

– Затей у меня нет никаких, но есть только поручение для вашей сестры.

Дюрок говорил очень вежливо и был совершенно спокоен. Я рассматривал Варрена. Его сестра представилась мне похожей на него, и я стал угрюм.

– Что это за поручение? – сказал Варрен, снова беря часы и бесцельно прикладывая их к уху.

– Я должен посмотреть, в чем дело.

– Не проще ли, – возразил Дюрок, – пригласить девушку?

– А в таком случае не проще ли вам выйти вон и прихлопнуть дверь за собой! – проговорил Варрен, начиная тяжело дышать. В то же время он подступил ближе к Дюроку, бегая взглядом по его фигуре. – Что это за маскарад? Вы думаете, я не различу кочегара или матроса от спесивого идиота, как вы? Зачем вы пришли? Что вам надо от Молли?

Видя, как страшно побледнел Дюрок, я подумал, что тут и конец всей истории и наступит время палить из револьвера, а потому приготовился. Но Дюрок только вздохнул. На один момент его лицо осунулось от усилия, которое сделал он над собой, и я услышал тот же ровный, глубокий голос:

– Я мог бы ответить вам на все или почти на все ваши вопросы, но теперь не скажу ничего. Я вас спрашиваю только: дома Молли Варрен?

Он сказал последние слова так громко, что они были бы слышны через полураскрытую в следующую комнату дверь, – если бы там был кто-нибудь. На лбу Варрена появился рисунок жил.

– Можете не говорить! – закричал он. – Вы подсланы, и я знаю кем – этим выскочкой, миллионером из ямы! Однако проваливайте! Молли нет. Она уехала. Попробуйте только производить розыски, и, клянусь черепом дьявола, мы вам переломаем все кости.

Потрясая рукой, он вытянул ее свирепым движением. Дюрок быстро взял руку Варрена выше кисти, нагнул вниз, и... и я неожиданно увидел, что хозяин квартиры с яростью и мучением в лице брякнулся на одно колено, хватаясь другой рукой за руку Дюрока. Дюрок взял эту другую руку Варрена и тряхнул его – вниз, а потом – назад. Варрен упал на локоть, сморщившись, закрыв глаза и прикрывая лицо.

Дюрок потер ладонь о ладонь, затем взглянул на продолжавшего лежать Варрена.

– Это было необходимо, – сказал он, – в другой раз вы будете осторожнее. Санди, идем!

Я выбежал за ним с обожанием, с восторгом зрителя, получившего высокое наслаждение. Много я слышал о силачах, но первый раз видел сильного человека, казавшегося не сильным, – не таким сильным. Я весь горел, ликовал, ног под собой не слышал от возбуждения. Если таково начало нашего похода, то что же предстоит впереди?

– Боюсь, не сломал ли я ему руку, – сказал Дюрок, когда мы вышли на улицу.

– Она срастется! – вскричал я, не желая портить впечатления никакими соображениями. – Мы ищем Молли?

Момент был таков, что сблизил нас общим возбуждением, и я чувствовал, что имею теперь право кое-что знать. То же, должно быть, признавал и Дюрок, потому что просто сказал мне

как равному:

– Происходит запутанное дело: Молли и Ганувер давно знают друг друга, он очень ее любит, но с ней что-то произошло. По крайней мере, на завтрашнем празднике она должна была быть, однако от нее нет ни слуха ни духа уже два месяца, а перед тем она написала, что отказывается быть женой Ганувера и уезжает. Она ничего не объяснила при этом.

Он так законченно выразился, что я понял его нежелание приводить подробности. Но его слова вдруг согрели меня внутри и переполнили благодарностью.

– Я вам очень благодарен, – сказал я как можно тише.

Он повернулся и рассмеялся:

– За что? О, какой ты дурачок, Санди! Сколько тебе лет?

– Шестнадцать, – сказал я, – но скоро будет уже семнадцать.

– Сразу видно, что ты настоящий мужчина, – заметил он, и, как ни груба была лесть, я крикнул, ошарашенный свыше меры. Теперь Дюрок мог, не опасаясь непослушания, приказать мне обойти на четвереньках вокруг залива.

Едва мы подошли к углу, как Дюрок посмотрел назад и остановился. Я стал тоже смотреть. Скоро из ворот вышел Варрен. Мы спрятались за углом, так что он нас не видел, а сам был виден нам через ограду, сквозь ветви. Варрен посмотрел в обе стороны и быстро направился через мостик поперек оврага к поднимающемуся на той стороне переулку.

Едва он скрылся, как из этих же ворот выбежала босоногая девушка с завязанной платком щечкой и спешно направилась в нашу сторону. Ее хитрое лицо отражало разочарование, но, добежав до угла и увидев нас, она застыла на месте, раскрыв рот, потом метнула искоса взглядом, прошла лениво вперед и тотчас вернулась.

– Вы ищете Молли? – сказала она таинственно.

– Вы угадали, – ответил Дюрок, и я тотчас сообразил, что нам подвернулся шанс.

– Я не угадала, я слышала, – сказала эта скуластая барышня (уже я был готов взречь от тоски, что она скажет: «Это – я, к вашим услугам»), двигая перед собой руками, как будто ловила паутину, – так вот, что я вам скажу: ее здесь действительно нет, а она теперь в бордингаузе, у своей сестры. Идите, – девица махнула рукой, – туда по берегу. Всего вам одну милю пройти. Вы увидите синюю крышу и флаг на мачте. Варрен только что убежал и уж наверно готовит пакость, поэтому торопитесь.

– Благодарю, добрая душа, – сказал Дюрок. – Еще, значит, не все против нас.

– Я не против, – возразила особа, – а даже наоборот. Они девушкой вертят, как хотят; очень жаль девочку, потому что, если не вступиться, ее слопают.

– Слопают? – спросил Дюрок.

– А вы не знаете Лемарена? – вопрос прозвучал громовым упреком.

– Нет, не знаем.

– Ну, тогда долго рассказывать. Она сама расскажет. Я уйду, если меня увидят с вами...

Девица всколыхнулась и исчезла за угол, а мы, немедленно следуя ее указанию, и так скоро, как только позволяло дыхание, кинулись на ближайший спуск к берегу, где, как увидели, нам

предстоит обогнуть небольшой мыс – в правой стороне от Сигнального Пустыря.

Могли бы мы, конечно, расспросив о дороге, направиться ближайшим путем, по твердой земле, а не по скользкому гравия, но, как правильно указал Дюрок, в данном положении было невыгодно, чтобы нас видели на дорогах.

Справа по обрыву стоял лес, слева блестело утреннее красивое море, а ветер дул на счастье в затылок. Я был рад, что иду берегом. На гравии бежали, шумя, полосы зеленой воды, отливаясь затем назад шепчущей о тишине пеной. Обогнув мыс, мы увидели вдали, на изгибе лиловых холмов берега, синюю крышу с узким дымком флага, и только тут я вспомнил, что Эстамп ждет известий. То же самое, должно быть, думал Дюрок, так как сказал:

– Эстамп потерпит: то, что впереди нас, – важнее его. – Однако, как вы увидите впоследствии, с Эстампом вышло иначе.

IX

За мысом ветер стих, и я услышал слабо долетающую игру на рояле, – беглый мотив. Он был ясен и незатейлив, как полевой ветер. Дюрок внезапно остановился, затем пошел тише, с закрытыми глазами, опустив голову.

Я подумал, что у него сделались в глазах темные круги от слепого блеска белой гальки; он медленно улыбнулся, не открывая глаз, потом остановился вторично с немного приподнятой рукой. Я не знал, что он думает. Его глаза внезапно открылись, он увидел меня, но продолжал смотреть очень рассеянно, как бы издали; наконец, заметив, что я удивлен, Дюрок повернулся и, ничего не сказав, направился далее.

Обливаясь потом, достигли мы тени здания. Со стороны моря фасад был обведен двухэтажной террасой с парусиновыми навесами; узкая густая стена с слуховым окном была обращена к нам, а входы были, надо полагать, со стороны леса. Теперь нам предстояло узнать, что это за бордингауз и кто там живет.

Музыкант кончил играть свой кроткий мотив и начал переливать звуки от заостренной трели к глухому бормотанию басом, потом обратно, все очень быстро. Наконец он несколько раз кряду крепко ударил в прелестную тишину морского утра однотонным аккордом и как бы исчез.

– Замечательное дело! – слышался с верхней террасы хриплый, обеспокоенный голос. – Я оставил водки в бутылке выше ярлыка на палец, а теперь она ниже ярлыка. Это вы выпили, Билль?

– Стану я пить чужую водку, – мрачно и благородно ответил Билль. – Я только подумал, не укусу ли это, так как страдаю мигренью, и смочил немного платок.

– Лучше бы вы не страдали мигренью, – а научились...

Затем, так как мы уже поднялись по тропинке к задней стороне дома, спор слышался неясным единоборством голосов, а перед нами открылся вход с лестницей. Ближе к углу была вторая дверь.

Среди редких, очень высоких и тенистых деревьев, росших здесь вокруг дома, переходя далее в густой лес, мы не были сразу замечены единственным человеком, которого тут увидели. Это была девушка или девочка? – я не смог бы сказать сразу, но склонялся к тому,

что девочка. Она ходила босиком по траве, склонив голову и заложив руки назад, взад и вперед с таким видом, как ходят из угла в угол по комнате. Под деревом был на вкопанном столбе круглый стол, покрытый скатертью, на нем лежали разграфленная бумага, карандаш, утюг, молоток и горка орехов. На девушке не было ничего, кроме коричневой юбки и легкого белого платка с синей каймой, накинутого поверх плеч. В ее очень густых кое-как замотанных волосах торчали длинные шпильки.

Походив, она нехотя уселась к столу, записала что-то в разграфленную бумагу, затем сунула утюг между колен и стала разбивать на нем молотком орехи.

– Здравствуйте, – сказал Дюрок, подходя к ней. – Мне указали, что здесь живет Молли Варрен!

Она повернулась так живо, что все ореховое производство свалилось в траву; выпрямилась, встала и, несколько побледнев, оторопело приподняла руку. По ее очень выразительному, тонкому, слегка сумрачному лицу прошло несколько беглых, странных движений. Тотчас она подошла к нам, не быстро, но словно подлетела с дуновением ветра.

– Молли Варрен! – сказала девушка, будто что-то обдумывая, и вдруг убийственно покраснела. – Пожалуйте, пройдите за мной, я ей скажу.

Она понеслась, щелкая пальцами, а мы, следуя за ней, прошли в небольшую комнату, где было тесно от сундуков и плохой, но чистой мебели. Девочка исчезла, не обратив больше на нас никакого внимания, в другую дверь и с треском захлопнула ее. Мы стояли, сложив руки, с естественным напряжением. За скрывшей эту особу дверью послышалось падение стула или похожего на стул, звон, какой слышен при битье посуды, яростное «черт побери эти крючки», и, после некоторого резкого громохання, внезапно вошла очень стройная девушка, с встревоженным улыбающимся лицом, обильной прической и блистающими заботой, нетерпеливыми, ясными черными глазами, одетая в тонкое шелковое платье прекрасного сиреневого оттенка, туфли и бледно-зеленые чулки. Это была все та же босая девочка с утюгом, но я должен был теперь признать, что она девушка.

– Молли – это я, – сказала она недоверчиво, но неудержимо улыбаясь, – скажите все сразу, потому что я очень волнуюсь, хотя по моему лицу этого никогда не заметят.

Я смутился, так как в таком виде она мне очень понравилась.

– Так вы догадались, – сказал Дюрок, садясь, как сели мы все. – Я – Джон Дюрок, могу считать себя действительным другом человека, которого назовем сразу: Ганувер. Со мной мальчик... то есть просто один хороший Санди, которому я доверяю.

Она молчала, смотря прямо в глаза Дюрока и беспокойно двигаясь. Ее лицо дергалось. Подождав, Дюрок продолжал:

– Ваш роман, Молли, должен иметь хороший конец. Но происходят тяжелые и непонятные вещи. Я знаю о золотой цепи...

– Лучше бы ее не было, – вскричала Молли. – Вот уж, именно, тяжесть; я уверена, что от нее – все!

– Санди, – сказал Дюрок, – сходи взглянуть, не плывет ли лодка Эстампа.

Я встал, задев ногой стул, с тяжелым сердцем, так как слова Дюрока намекали очень ясно, что я мешаю. Выходя, я столкнулся с молодой женщиной встревоженного вида, которая, едва взглянув на меня, уставилась на Дюрока. Уходя, я слышал, как Молли сказала: «Моя сестра Арколь».

Итак, я вышел на середине недопетой песни, начинавшей действовать обаятельно, как все, связанное с тоской и любовью, да еще в лице такой прелестной стрелы, как та девушка, Молли. Мне стало жалко себя, лишённого участия в этой истории, где я был у всех под рукой, как перочинный ножик – его сложили и спрятали. И я, имея оправдание, что не преследовал никаких дурных целей, степенно обошел дом, увидел со стороны моря раскрытое окно, признал узор занавески и сел под ним спиной к стене, слыша почти все, что говорилось в комнате.

Разумеется, я пропустил много, пока шел, но был вознагражден тем, что услышал дальше. Говорила, очень нервно и горячо, Молли:

– Да, как он приехал? Но что за свидания?! Всего-то и виделись мы семь раз, фф-у-у! Надо было привезти меня немедленно к себе. Что за отсрочки?! Из-за этого меня проследили и окончательно все стало известно. Знаете, эти мысли, то есть критика, приходят, когда задумаешься обо всем. Теперь еще у него живет красавица, – ну и пусть живет и не смей меня звать!

Дюрок засмеялся, но невесело.

– Он сильно пьет, Молли, – сказал Дюрок, – и пьет потому, что получил ваше окончательное письмо. Должно быть, оно не оставляло ему надежды. Красавица, о которой вы говорите, – гостья. Она, как мы думаем, просто скучающая молодая женщина. Она приехала из Индии с братом и приятелем брата; один – журналист, другой, кажется, археолог. Вы знаете, что представляет дворец Ганувера. О нем пошел далеко слух, и эти люди явились взглянуть на чудо архитектуры. Но он оставил их жить, так как не может быть один – совсем один. Молли, сегодня... в двенадцать часов... вы дали слово три месяца назад...

– Да, и я его забрала обратно.

– Слушайте, – сказала Арколь, – я сама часто не знаю, чему верить. Наши братцы работают ради этого подлеца Лемарена. Вообще мы в семье распались. Я жила долго в Риоле, где у меня было другое общество, да, получше компании Лемарена. Что же, служила и все такое, была не помощницей садовника. Я ушла, навсегда ушла душой от Пустыря. Этого не вернешь. А Молли – Молли, бог тебя знает, Молли, как ты выросла на дороге и не затоптали тебя! Ну, я поберегла, как могла, девочку... Братцы работают, – два брата; который хуже, трудно сказать. Уж наверно, не одно письмо было скрадено. И они вбили девушке в голову, что Ганувер с ней... не так чтобы очень хорошо. Что у него есть любовницы, что его видели там и там в распутных местах. Надо знать мрачность, в которую она впадает, когда слышит такие вещи!

– Лемарен? – сказал Дюрок. – Молли, кто такой Лемарен?

– Негодяй! Я ненавижу его!

– Верьте мне, хоть стыдно в этом признаться, – продолжала Арколь, – что у Лемарена общие дела с нашими братцами. Лемарен – хулиган, гроза Пустыря. Ему приглянулась моя сестра, и он с ума сходит, больше от самолюбия и жадности. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Все сложилось скверно, как нельзя хуже. Вот наша семья: отец в тюрьме за хорошие дела, один брат тоже в тюрьме, а другой ждет, когда его посадят. Ганувер четыре года назад оставил деньги, – я знала только, кроме нее, у кого они; это ведь ее доля, которую она согласилась взять, – но, чтобы хоть как-нибудь пользоваться ими, приходилось все время выдумывать предлоги – поездки в Риоль, – то к тетке, то к моим подругам и так далее. На глазах нельзя было нам обнаружить ничего: заколотят и отберут. Теперь: Ганувер приехал и его видели с Молли, стали за ней следить, перехватили письмо. Она вспыльчива. На одно слово, что ей было сказано тогда, она ответила, как это она умеет: «Люблю, да, и подите к черту!» Вот тут перед ними и мелькнула нажива. Брат сдуру открыл мне свои

намерения, надеясь меня привлечь: отдать девушку Лемарену, чтобы он запугал ее, подчинил себе, а потом – Гануверу, и тянуть деньги, много денег, как от рабыни. Жена должна была обирать мужа ради любовника. Я все рассказала Молли. Ее согнуть нелегко, но добыча была заманчива. Лемарен прямо объявил, что убьет Ганувера в случае брака. Тут началась грязь – сплетни, и угрозы, и издевательства, и упреки, и я должна была с боем взять Молли к себе, когда получила место в этом бордингаузе, место смотрительницы. Будьте уверены, Лемарен явится сегодня сюда, раз вы были у брата. Одним словом – кумир дур. Приятели его подражают ему в манерах и одежде. Общие дела с братцами. Плохие эти дела! Мы даже не знаем точно, какие дела... только если Лемарен сядет в тюрьму, то и семейство наше уменьшится на оставшегося братца. Молли, не плачь! Мне так стыдно, так тяжело говорить вам все это! Дай мне платок. Пустяки, не обращайтесь внимания. Это сейчас пройдет.

– Но это очень грустно, – все, что вы говорите, – сказал Дюрок. – Однако я без вас не вернусь, Молли, потому, что за этим я и приехал. Медленно, очень медленно, но верно Ганувер умирает. Он окружил свой конец пьяным туманом, ночной жизнью. Заметьте, что не уверенными, уже дрожащими шагами дошел он к сегодняшнему дню, как и назначил, – дню торжества. И он все сделал для вас, как было то в ваших мечтах, на берегу. Все это я знаю и очень всем расстроен, потому что люблю этого человека.

– А я – я не люблю его?! – пылко сказала девушка. – Скажите «Ганувер» и приложите руку мне к сердцу! Там – любовь! Одна любовь! Приложите! Ну – слышите? Там говорит – «да», всегда «да»! Но я говорю «нет»!

При мысли, что Дюрок прикладывает руку к ее груди, у меня самого сильно забилось сердце. Вся история, отдельные черты которой постепенно я узнавал, как бы складывалась на моих глазах из утреннего блеска и ночных тревог, без конца и начала, одной смутной сценой. Впоследствии я узнал женщин и уразумел, что девушка семнадцати лет так же хорошо разбирается в обстоятельствах, поступках людей, как лошадь в арифметике. Теперь же я думал, что если она так сильно противится и огорчена, то, вероятно, права.

Дюрок сказал что-то, чего я не разобрал. Но слова Молли все были ясно слышны, как будто она выбрасывала их в окно и они падали рядом со мной.

– ... вот как все сложилось несчастно. Я его, как он уехал, два года не любила, а только вспоминала очень тепло. Потом я опять начала любить, когда получила письмо, потом много писем. Какие же это были хорошие письма! Затем – подарок, который надо, знаете, хранить так, чтобы не увидели, – такие жемчужины...

Я встал, надеясь заглянуть внутрь и увидеть, что она там показывает, как был поражен неожиданным шествием ко мне Эстампа. Он брел от берегов выступа, разгоряченный, утирая платком пот, и, увидев меня, еще издали покачал головой, внутренне осев; я подошел к нему, не очень довольный, так как потерял, – о, сколько я потерял и волнующих слов, и подарков! – прекратилось мое невидимое участие в истории Молли.

– Вы подлецы! – сказал Эстамп. – Вы меня оставили удить рыбу. Где Дюрок?

– Как вы нашли нас? – спросил я.

– Не твое дело. Где Дюрок?

– Он – там! – Я проглотил обиду, так я был обезоружен его гневным лицом. – Там они, трое: он, Молли и ее сестра.

– Веди!

– Послушайте, – возразил я скрепя сердце, – можете вызвать меня на дуэль, если мои слова будут вам обидны, но, знаете, сейчас там самый разгар. Молли плачет, и Дюрок ее уговаривает.

– Так, – сказал он, смотря на меня с проступающей понемногу улыбкой. – Уже подслушал! Ты думаешь, я не вижу, что ямы твоих сапогов идут прямехонько от окна? Эх, Санди, капитан Санди, тебя нужно бы прозвать не «Я все знаю», а «Я все слышу!».

Сознавая, что он прав, я мог только покраснеть.

– Не понимаю, как это случилось, – продолжал Эстамп, – что за одни сутки мы так прочно очутились в твоих лапах?! Ну, ну, я пошутил. Веди, капитан! А что эта Молли – хорошенькая?

– Она... – сказал я. – Сами увидите.

– То-то! Ганувер не дурак.

Я пошел к заветной двери, а Эстамп постучал. Дверь открыла Арколь.

Молли вскочила, поспешно вытирая глаза. Дюрок встал.

– Как? – сказал он. – Вы здесь?

– Это свинство с вашей стороны, – начал Эстамп, кланяясь дамам и лишь мельком взглянув на Молли, но тотчас улыбнулся, с ямочками на щеках, и стал говорить очень серьезно и любезно, как настоящий человек. Он назвал себя, выразил сожаление, что помешал разговаривать, и объяснил, как нашел нас.

– Те же дикари, – сказал он, – которые пугали вас на берегу, за пару золотых монет весьма охотно продали мне нужные сведения. Естественно, я был обозлен, соскучился и вступил с ними в разговор: здесь, по-видимому, все знают друг друга или кое-что знают, а потому ваш адрес, Молли, был мне сообщен самым толковым образом. Я вас прошу не беспокоиться, – прибавил Эстамп, видя, что девушка вспыхнула, – я сделал это как тонкий дипломат. Двинулось ли наше дело, Дюрок?

Дюрок был очень взволнован. Молли вся дрожала от возбуждения, ее сестра улыбалась насильно, стараясь искусственно спокойным выражением лица внести тень мира в пылкий перелет слов, затронувших, по-видимому, все самое важное в жизни Молли.

Дюрок сказал:

– Я говорю ей, Эстамп, что, если любовь велика, все должно умолкнуть, все другие соображения. Пусть другие судят о наших поступках как хотят, если есть это вечное оправдание. Ни разница положений, ни состояние не должны стоять на пути и мешать. Надо верить тому, кого любишь, – сказал он, – нет высшего доказательства любви. Человек часто не замечает, как своими поступками он производит невыгодное для себя впечатление, не желая в то же время сделать ничего дурного. Что касается вас, Молли, то вы находитесь под вредным и сильным внушением людей, которым не поверили бы ни в чем другом. Они сумели повернуть так, что простое дело соединения вашего с Ганувером стало делом сложным, мутным, обильным неприятными последствиями. Разве Лемарен не говорил, что убьет его? Вы сами это сказали. Находясь в кругу мрачных впечатлений, вы приняли кошмар за действительность. Много помогло здесь и то, что все пошло от золотой цепи. Вы увидели в этом начало рока и боитесь конца, рисуящегося вам в подавленном состоянии вашем как ужасная неизвестность. На вашу любовь легла грязная рука, и вы боитесь, что эта грязь окрасит собой все. Вы очень молоды, Молли, а человеку молодому, как вы, довольно иногда созданного им самим призрака, чтобы решить дело в любую сторону, а затем – легче

умереть, чем признаться в ошибке.

Девушка начала слушать его с бледным лицом, затем покраснелась и просидела так, вся красная, до конца.

– Не знаю, за что он любит меня, – сказала она. – О, говорите, говорите еще! Вы так хорошо говорите! Меня помять, умягчить, тогда все пройдет. Я уже не боюсь. Я верю вам! Но говорите, пожалуйста!

Тогда Дюрок стал передавать силу своей души этой запуганной, стремительной, самолюбивой и угнетенной девушке.

Я слушал – и каждое его слово запоминал навсегда, но не буду приводить всего, иначе на склоне лет опять ярко припомню этот час, и, наверно, разыграется мигрень.

– Если даже вы принесете ему несчастье, как уверены в том, – не бойтесь ничего, даже несчастья, потому что это будет общее ваше горе, и это горе – любовь.

– Он прав, Молли, – сказал Эстамп, – тысячу раз прав. Дюрок – золотое сердце!

– Молли, не упрямясь больше, – сказала Арколь, – тебя ждет счастье!

Молли как бы очнулась. В ее глазах заиграл свет, она встала, потерла лоб, заплакала, пальцами прикрывая лицо, но скоро махнула рукой и стала смеяться.

– Вот мне и легче, – сказала она, сморкаясь. – О, что это?! Ф-фу-у-у, точно солнце взошло! Что же это было за наваждение? Мрак какой! Я и не понимаю теперь. Едем скорей! Арколь, ты меня пойми! Я ничего не понимала, и вдруг – ясное зрение.

– Хорошо, хорошо, не волнуйся, – ответила сестра. – Ты будешь собираться?

– Немедленно соберусь! – Она осмотрелась, бросилась к сундуку и стала вынимать из него куски разных материй, кружева, чулки и завязанные пакеты; не прошло и минуты, как вокруг нее валялась груда вещей. – Еще и не сшила ничего! – сказала она горестно. – В чем я поеду?

Эстамп стал уверять, что ее платье ей к лицу и что так хорошо. Не очень довольная, она хмуро прошла мимо нас, что-то ища, но когда ей поднесли зеркало, развеселилась и примирилась. В это время Арколь спокойно свертывала и укладывала все, что было разбросано. Молли, задумчиво посмотрев на нее, сама подобрала вещи и обняла молча сестру.

Х

– Я знаю... – сказал голос за окном; шаги нескольких людей, удаляясь, огибали угол.

– Только бы не они, – сказала, вдруг побледнев и бросаясь к дверям, Арколь. Молли, закусив губы, смотрела на нее и на нас. Взгляд Эстампа Дюроку вызвал ответ последнего: «Это ничего, нас трое». Едва он сказал, по двери ударили кулаком, – я, бывший к ней ближе других, открыл и увидел молодого человека небольшого роста, в щегольском летнем костюме. Он был коренаст, с бледным, плоским, даже тощим лицом, но выражение нелепого превосходства в тонких губах под черными усиками и в резких черных глазах было необыкновенно крикливым. За ним шли Варрен и третий человек – толстый, в грязной блузе,

с шарфом вокруг шеи. Он шумно дышал, смотрел, выпучив глаза, и войдя, сунул руки в карманы брюк, став как столб.

Все мы продолжали сидеть, кроме Арколь, которая подошла к Молли. Став рядом с ней, она бросила Дюроку отчаянный умоляющий взгляд.

Новоприбывшие были заметно навеселе. Ни одним взглядом, ни движением лица не обнаружили они, что, кроме женщин, есть еще мы; даже не посмотрели на нас, как будто нас здесь совсем не было. Разумеется, это было сделано умышленно.

– Вам нужно что-нибудь, Лемарен? – сказала Арколь, стараясь улыбнуться. – Сегодня мы очень заняты. Нам надо пересчитать белье, сдать его, а потом ехать за провизией для матросов. – Затем она обратилась к брату, и это было одно слово: – Джон!

– Я с вами поговорю, – сказал Варрен. – Что же, нам и сесть негде?!

Лемарен, подбоченясь, взмахнул соломенной шляпой. Его глаза с острой улыбкой были обращены к девушке.

– Привет, Молли! – сказал он. – Прекрасная Молли, сделайте милость, обратите внимание на то, что я пришел навестить вас в вашем уединении. Взгляните, – это я!

Я видел, что Дюрок сидит, опустив голову, как бы безучастно, но его колено дрожало, и он почти незаметно удерживал его ладонью руки. Эстамп приподнял брови, отошел и смотрел сверху вниз на бледное лицо Лемарена.

– Убирайся! – сказала Молли. – Ты довольно преследовал меня! Я не из тех, к кому ты можешь протянуть лапу. Говорю тебе прямо и начистоту – я более не стерплю! Уходи!

Из ее черных глаз разлетелась по комнате сила отчаянного сопротивления. Все это почувствовали. Почувствовал это и Лемарен, так как широко раскрыл глаза, смигнул и, нескладно улыбаясь, повернулся к Варрену.

– Каково? – сказал он. – Ваша сестра сказала мне дерзость, Варрен. Я не привык к такому обращению, клянусь костылями всех калеков этого дома. Вы пригласили меня в гости, и я пришел. Я пришел вежливо, – не с худой целью. В чем тут дело, я спрашиваю?

– Дело ясное, – сказал, глухо крикнув, толстый человек, ворочая кулаки в карманах брюк. – Нас выставляют.

– Кто вы такой? – рассердилась Арколь. По наступательному выражению ее кроткого даже в гневе лица я видел, что и эта женщина дошла до предела. – Я не знаю вас и не приглашала. Это мое помещение, я здесь хозяйка. Потрудитесь уйти!

Дюрок поднял голову и взглянул Эстампу в глаза. Смысл взгляда был ясен. Я поспешил захватить плотнее револьвер, лежавший в моем кармане.

– Добрые люди, – сказал, посмеиваясь, Эстамп, – вам лучше бы удалиться, так как разговор в этом тоне не доставляет решительно никому удовольствия.

– Слышу птицу! – воскликнул Лемарен, мельком взглядывая на Эстампа и тотчас обращаясь к Молли. – Это вы заводите чижиков, Молли? А есть у вас канареечное семя, а? Ответьте, пожалуйста!

– Не спросить ли моего утреннего гостя, – сказал Варрен, выступая вперед и становясь против Дюрока, неохотно вставшего навстречу ему. – Может быть, этот господин соблаговолит объяснить, почему он здесь, у моей, черт побери, сестры?!

– Нет, я не сестра твоя! – сказала, словно бросила тяжкий камень, Молли. – А ты не брат мне! Ты – второй Лемарен, то есть подлец!

И, сказав так, вне себя, в слезах, с открытым, страшным лицом, она взяла со стола книгу и швырнула ее в Варрена.

Книга, порхнув страницами, ударила его по нижней губе, так как он не успел прикрыться локтем. Все ахнули. Я весь горел, чувствуя, что отлично сделано, и готов был палить во всех.

– Ответит этот господин, – сказал Варрен, указывая пальцем на Дюрока и растирая другой рукой подбородок, после того, как вдруг наступившее молчание стало невыносимо.

– Он переломает тебе все кости! – вскричал я. – А я пробью твою мишень, как только...

– Как только я уйду, – сказал вдруг сзади низкий, мрачный голос, столь громкий, несмотря на рокошующий тембр, что все сразу оглянулись.

Против двери, твердо и широко распахнув ее, стоял человек с седыми баками и седой копной волос, разлетевшихся, как сено на вилах. Он был без руки, – один рукав матросской куртки висел; другой, засученный до локтя, обнажал коричневую пружину мускулов, оканчивающихся мощной пятерней с толстыми пальцами. В этой послужившей на своем веку мускульной машине человек держал пустую папиросную коробку. Его глаза, глубоко запрявленные среди бровей, складок и морщин, цедили тот старческий блестящий взгляд, в котором угадываются и отличная память, и тонкий слух.

– Если сцена, – сказал он, входя, – то надо закрывать дверь. Кое-что я слышал. Мамаша Арколь, будьте добры дать немного толченого перцу для рагу. Рагу должно быть с перцем. Будь у меня две руки, – продолжал он в том же спокойном деловом темпе, – я не посмотрел бы на тебя, Лемарен, и вбил бы тебе этот перец в рот. Разве так обращаются с девушкой?

Едва он проговорил это, как толстый человек сделал движение, в котором я ошибиться не мог: он вытянул руку ладонью вниз и стал отводить ее назад, намереваясь ударить Эстампа. Быстрее его я протянул револьвер к глазам негодяя и нажал спуск, но выстрел, толкнув руку, увел пулю мимо цели.

Толстяка отбросило назад, он стукнулся об этажерку и едва не свалил ее. Все вздрогнули, разбежались и оцепенели; мое сердце колотилось, как гром. Дюрок с наименьшей быстротой направил дуло в сторону Лемарена, а Эстамп прицелился в Варрена.

Мне не забыть безумного испуга в лице толстого хулигана, когда я выстрелил. Тут я понял, что игра временно остается за нами.

– Нечего делать, – сказал, бессильно поводя плечами, Лемарен. – Мы еще не приготовились. Ну, берегитесь! Ваша взяла! Только помните, что подняли руку на Лемарена. Идем, Босс! Идем, Варрен! Встретимся еще как-нибудь с ними, отлично увидимся. Прекрасной Молли привет! Ах, Молли, красotka Молли!

Он проговорил это медленно, холодно, вертя в руках шляпу и взглядывая то на нее, то на всех нас по очереди. Варрен и Босс молча смотрели на него.

Он мигнул им; они вылезли из комнаты один за другим, останавливаясь на пороге; оглядываясь, они выразительно смотрели на Дюрока и Эстампа, прежде чем скрыться. Последним выходил Варрен. Останавливаясь, он поглядел и сказал:

– Ну, смотри, Арколь! И ты, Молли!

Он прикрыл дверь. В коридоре шептались, затем, быстро прозвучав, шаги утихли за домом.

– Вот, – сказала Молли, бурно дыша. – И все, и ничего более. Теперь надо уходить. Я уйду, Арколь. Хорошо, что у вас пули.

– Правильно, правильно и правильно! – сказал инвалид. – Такое поведение я одобряю. Когда был бунт на «Альцесте», я открыл такую пальбу, что все легли брюхом вниз. Теперь что же? Да, я хотел перцу для...

– Не вздумайте выходить, – быстро заговорила Арколь. – Они караулят. Я не знаю, как теперь поступить.

– Не забудьте, что у меня есть лодка, – сказал Эстамп, – она очень недалеко. Ее не видно отсюда, и я поэтому за нее спокоен. Будь мы без Молли...

– Она? – сказал инвалид Арколь, устремляя указательный палец в грудь девушке.

– Да, да, надо уехать.

– Ее? – повторил матрос.

– О, какой вы непонятливый, а еще...

– Туда? – Инвалид махнул рукой за окно.

– Да, я должна уехать, – сказала Молли, – вот придумайте, – ну, скорее, о боже мой!

– Такая же история была на «Гренаде» с юнгой; да, вспомнил. Его звали Санди. И он...

– Я – Санди, – сказал я, сам не зная зачем.

– Ах, и ты тоже Санди? Ну, милочка, какой же ты хороший, ревунок мой. Послужи, послужи девушке! Ступайте с ней. Ступай, Молли. Он твоего роста. Ты дашь ему юбку и – ну, скажем, платьишко, чтобы закутать то место, где лет через десять вырастет борода. Юбку дашь приметную, такую, в какой тебя видали и помнят. Поняла? Ступай, скройся и переряди человека, который сам сказал, что его зовут Санди. Ему будет дверь, тебе окно. Все!

XI

– В самом деле, – сказал, помолчав, Дюрок, – это, пожалуй, лучше всего.

– Ах, ах! – воскликнула Молли, смотря на меня со смехом и жалостью. – Как же он теперь? Нельзя ли иначе? – Но полное одобрение слышалось в ее голосе, несмотря на притворные колебания.

– Ну, что же, Санди? – Дюрок положил мне на плечо руку. – Решай! Нет ничего позорного в том, чтобы подчиниться обстоятельствам, – нашим обстоятельствам. Теперь все зависит от тебя.

Я воображал, что иду на смерть, пасть жертвой за Ганувера и Молли, но умереть в юбке казалось мне ужасным концом. Хуже всего было то, что я не мог отказаться; меня ждал, в случае отказа, моральный конец, горший смерти. Я подчинился с мужеством растоптанного стыда и смирился перед лицом рока, смотревшего на меня нежными черными глазами Молли. Тотчас произошло заклятие. Худо понимая, что делается кругом, я вошел в комнату рядом и, слыша, как стучит мое опозоренное сердце, стал, подобно манекену, неподвижно и глупо. Руки отказывались бороться с завязками и пуговицами. Чрезвычайная быстрота

четырёх женских рук усыпила и ошеломила меня. Я чувствовал, что смешон и велик, что я – герой и избавитель, кукла и жертва. Маленькие руки поднесли мне зеркало; на голове очутился платок, и, так как я не знал, что с ним делать, Молли взяла мои руки и забрала их вместе с платком под подбородком, трясая, чтобы я понял, как прикрывать лицо. Я увидел в зеркале искаженное расстройством подобие себя и не признал его. Наконец тихий голос сказал: «Спасибо тебе, душечка!» – и крепкий поцелуй в щеку вместе с легким дыханием дал понять, что этим Молли вознаграждает Санди за отсутствие у него усов.

После того все пошло как по маслу, меня быстро вытолкнули к обществу мужчин, от которого я временно отказался. Наступило глубокое, унижительное молчание. Я не смел поднять глаз и направился к двери, слегка путаясь в юбке; я так и ушел бы, но Эстамп окликнул меня:

– Не торопись, я пойду с тобой, – нагнав меня у самого выхода, он сказал:

– Иди быстрым шагом по той тропинке, так скоро, как можешь, будто торопишься изо всех сил, держи лицо прикрытым и не оглядывайся; выйдя на дорогу, поверни вправо, к Сигнальному Пустырю. А я пойду сзади.

Надо думать, что приманка была хороша, так как, едва прошел я две-три лужайки среди светлого леса, невольно входя в роль и прижимая локти, как делают женщины, когда спешат, как в стороне послышались торопливые голоса.

Шаги Эстампа я слышал все время позади, близко от себя. Он сказал: «Ну, теперь беги, беги во весь дух!»

Я полетел вниз с холма, ничего не слыша, что сзади, но, когда спустился к новому подъему, раздались крики: «Молли! Стой, или будет худо!» – это кричал Варрен. Другой крик, Эстампа, тоже приказывал стоять, хотя я и не был назван по имени. Решив, что дело сделано, я остановился, повернувшись лицом к действию.

На разном расстоянии друг от друга по дороге двигались три человека, – ближайший ко мне был Эстамп, – он отступал в полуоборот к неприятелю. К нему бежал Варрен, за Варреном, отстав от него, спешил Босс. «Стойте!» – сказал Эстамп, целясь в последнего. Но Варрен продолжал двигаться, хотя и тише. Эстамп дал выстрел. Варрен остановился, нагнулся и ухватился за ногу.

– Вот как пошло дело! – сказал он, в замешательстве оглядываясь на подбегающего Босса.

– Хватай ее! – крикнул Босс. В тот же момент обе мои руки были крепко схвачены сзади, выше локтя, и с силой отведены к спине, так что, рванувшись, я ничего не выиграл, а только повернул лицо назад, взглянуть на вцепившегося в меня Лемарена. Он обошел лесом и пересек путь. При этих движениях платок свалился с меня. Лемарен уже сказал: «Мо...», – но, увидев, кто я, был так поражен, так взбешен, что, тотчас отпустив мои руки, замахнулся обоими кулаками.

– Молли, да не та! – вскричал я злорадно, рухнув ниц и со всей силой ударив его головой между ног, в самом низу – прием вдохновения. Он завопил и свалился через меня. Я на бегу разорвал пояс юбки и выскочил из нее, потом, отбежав, стал трясти ею, как трофеем.

– Оставь мальчишку, – закричал Варрен, – а то она удерет! Я знаю теперь: она побежала вверх, к матросам. Там что-нибудь подготовили. Брось все! Я ранен!

Лемарен не был так глуп, чтобы лезть на человека с револьвером, хотя бы этот человек держал в одной руке только что скинутую юбку: револьвер был у меня в другой руке, и я собирался пустить его в дело, чтобы отразить нападение. Оно не состоялось – вся троица понеслась обратно, грозя кулаками. Варрен хромал сзади. Я еще не опомнился, но уже

видел, что отделался дешево. Эстамп подошел ко мне с бледным и серьезным лицом.

– Теперь они поостоят у воды, – сказал он, – и будут, так же, как нам, грозить кулаками боту. По воде не пойдешь. Дюрок, конечно, успел сесть с девушкой. Какая история! Ну, впишем еще страницу в твои подвиги и... свернем-ка на всякий случай в лес!

Разгоряченный, изрядно усталый, я свернул юбку и платок, намереваясь сунуть их где-нибудь в куст, потому что, как ни блистательно я вел себя, они напоминали мне, что, условно, не по-настоящему, на полчаса, – но я был все же женщиной. Мы стали пересекать лес вправо, к морю, спотыкаясь среди камней, заросших папоротником. Поотстав, я заметил два камня, сошедшихся вверху краями, и сунул меж них ненатуральное одеяние, от чего пришел немедленно в наилучшее расположение духа.

На нашем пути встретился озаренный пригорок. Тут Эстамп лег, вытянул ноги и облокотился, положив на ладонь щеку.

– Садись, – сказал он. – Надо передохнуть. Да, вот это дело!

– Что же теперь будет? – осведомился я, садясь по-турецки и раскуривая с Эстампом его папиросы. – Как бы не произошло нападение?!

– Какое нападение?!

– Ну, знаете... У них, должно быть, большая шайка. Если они захотят отбить Молли и соберут человек сто...

– Для этого нужны пушки, – сказал Эстамп, – и еще, пожалуй, бесплатные места полицейским в качестве зрителей.

Естественно, наши мысли вертелись вокруг горячих утренних происшествий, и мы перебрали все, что было, со всеми подробностями, соображениями, догадками и особо картинными моментами. Наконец мы подошли к нашим впечатлениям от Молли; почему-то этот разговор замялся, но мне все-таки хотелось знать больше, чем то, чему был я свидетелем. Особенно меня волновала мысль о Дигэ. Эта таинственная женщина непременно возникала в моем уме, как только я вспоминал Молли. Об этом я его и спросил.

– Хм... – сказал он. – Дигэ... О, это задача! – И он погрузился в молчание, из которого я не мог извлечь его никаким покашливанием.

– Известно ли тебе, – сказал он наконец, после того как я решил, что он совсем задремал, – известно ли тебе, что эту траву едят собаки, когда заболеют бешенством?

Он показал острый листок, но я был очень удивлен его глубокомысленным тоном и ничего не сказал. Затем, в молчании, усталые от жары и друг от друга, мы выбрались к морской полосе, пришли на пристань и наняли лодочника. Никто из наших врагов не караулил нас здесь, поэтому мы благополучно переехали залив и высадились в стороне от дома. Здесь был лес, а дальше шел огромный, отлично расчищенный сад. Мы шли садом. Аллеи были пусты. Эстамп провел меня в дом через одну из боковых арок, затем по чрезвычайно путаной, сурового вида лестнице в большую комнату с цветными стеклами. Он был заметно не в духе, и я понял отчего, когда он сказал про себя: «Дьявольски хочу есть». Затем он позвонил, приказал слуге, чтобы тот отвел меня к Попу, и, еле передвигая ноги, я отправился через блестящие недра безлюдных стен в настоящее путешествие к библиотеке. Здесь слуга бросил меня, Я постучал и увидел Попа, беседующего с Дюроком.

Когда я вошел, Дюрок доканчивал свою речь. Не помню, что он сказал при мне. Затем он встал и в ответ многочисленным молчаливым кивкам Попа протянул ему руку. Рукопожатие сопровождалось твердыми улыбками с той и другой стороны.

– Как водится, герою уступают место и общество, – сказал мне Дюрок, – теперь, Санди, посвяти Попа во все драматические моменты. Вы можете ему довериться, – обратился он к Попу, – этот ма... человек сущий клад в таких положениях. Прощайте! Меня ждут.

Мне очень хотелось спросить, где Молли и давно ли Дюрок вернулся, так как хотя из этого ничего не вытекало, но я от природы любопытен во всем. Однако на что я решился бы под открытым небом, на то не решался здесь, по стеснительному чувству чужого среди высоких потолков и прекрасных вещей, имеющих свойство оттеснять непривычного в его духовную раковину. Все же я надеялся много узнать от Попа.

– Вы устали и, наверное, голодны? – сказал Поп. – В таком случае пригласите меня к себе, и мы с вами позавтракаем. Уже второй час.

– Да, я приглашаю вас, – сказал я, малость недоумевая, чем могу угостить его, и не зная, как взяться за это, но не желая уступать никому ни в тоне, ни в решительности. – В самом деле, идем, стрескаем, что дадут.

– Прекрасно, стрескаем, – подхватил он с непередаваемой интонацией редкого иностранного слова, – но вы не забыли, где ваша комната?

Я помнил и провел его в коридор, второй дверью налево. Здесь, к моему восхищению, повторилось то же, что у Дюрока: потянув шнур, висевший у стены, сбоку стола, мы увидели, как откинулась в простенке меж окон металлическая доска и с отверстием поравнялась никелевая плоскость, на которой были вино, посуда и завтрак. Он состоял из мясных блюд, фруктов и кофе. Для храбрости я выпил полный стакан вина и, отделившись таким образом от стеснения, стал есть, будучи почти пьян.

Поп ел мало и медленно, но вина выпил.

– Сегодняшний день, – сказал он, – полон событий, хотя все главное еще впереди. Итак, вы сказали, что произошла схватка?

Я этого не говорил и сказал, что не говорил.

– Ну, так скажете, – произнес он с милой улыбкой. – Жестоко держать меня в таком нетерпении.

Теперь происшедшее казалось мне не довольно поразительным, и я взял самый высокий тон.

– При высадке на берегу дело пошло на ножи, – сказал я и развил этот самостоятельный текст в виде прыжков, беганья и рычания, но никого не убил. Потом я сказал: – Когда явился Варрен и его друзья, я дал три выстрела, ранив одного негодяя... – Этот путь оказался скользким, заманчивым; чувствуя, должно быть, от вина, что я и Поп как будто описываем вокруг комнаты нарез, я хватил самое яркое из утренней эпопеи:

– Давайте, Молли, – сказал я, – устроим так, чтобы я надел ваше платье и обманул врагов, а вы за это меня поцелуете. И вот...

– Санди, не пейте больше вина, прошу вас, – мягко перебил Поп. – Вы мне расскажете потом, как все это у вас там произошло, тем более что Дюрок, в общем, уж рассказал.

Я встал, засунул руки в карманы и стал смеяться. Меня заливало блаженством. Я чувствовал себя Дюроком и Ганувером. Я вытащил револьвер и попытался прицелиться в шарик кровати. Поп взял меня за руку и усадил, сказав:

– Выпейте кофе, а еще лучше, закурите.

Я почувствовал во рту папиросу, а перед носом увидел чашку и стал жадно пить черный кофе. После четырех чашек винтообразный нарез вокруг комнаты перестал увлекать меня, в голове стало мутно и глупо.

– Вам лучше, надеюсь?

– Очень хорошо, – сказал я, – и, чем скорее вы приступите к делу, тем будет лучше.

– Нет, выпейте, пожалуйста, еще одну чашку.

Я послушался его и, наконец, стал чувствовать себя прочно сидящим на стуле.

– Слушайте, Санди, и слушайте внимательно. Надеюсь, вам теперь хорошо?

Я был страшно возбужден, но разум и понимание вернулись.

– Мне лучше, – сказал я обычным своим тоном, – мне почти хорошо.

– Раз почти, следовательно, контроль на месте, – заметил Поп. – Я ужаснулся, когда вы налили себе целую купель этого вина, но ничего не сказал, так как не видел еще вас в единоборстве с напитками. Знаете, сколько этому вину лет? Сорок восемь, а вы обошлись с ним как с водой. Ну, Санди, я теперь буду вам открывать секреты.

– Говорите как самому себе!

– Я не ожидал от вас другого ответа. Скажите мне... – Поп откинулся к спинке стула и пристально взглянул на меня. – Да, скажите вот что: умеете вы лазить по дереву?

– Штука нехитрая, – ответил я, – я умею и лазить по нему, и срубить дерево, как хотите. Я могу даже спуститься по дереву головой вниз. А вы?

– О нет, – застенчиво улыбнулся Поп, – я, к сожалению, довольно слаб физически. Нет, я могу вам только завидовать.

Уже я дал многие доказательства моей преданности, и было бы неудобно держать от меня в тайне общее положение дела, раз требовалось уметь лазить по дереву. По этим соображениям Поп, – как я полагаю, – рассказал многие обстоятельства. Итак, я узнал, что позавчера утром разосланы телеграммы и письма с приглашениями на сегодняшнее торжество и соберется большое общество.

– Вы можете, конечно, догадаться о причинах, – сказал Поп, – если примете во внимание, что Ганувер всегда верен своему слову. Все было устроено ради Молли; он думает, что ее не будет, однако не считает себя вправе признать это, пока не пробил двенадцать часов ночи. Итак, вы догадываетесь, что приготовлен сюрприз?

– О да, – ответил я, – я догадываюсь. Скажите, пожалуйста, где теперь эта девушка?

Он сделал вид, что не слышал вопроса, и я дал себе клятву не спрашивать об этом предмете, если он так явно вызывает молчание. Затем Поп перешел к подозрениям относительно Томсона и Галуэя.

– Я наблюдаю их две недели, – сказал Поп, – и, надо вам сказать, что я имею аналитический

склад ума, благодаря чему установил стиль этих людей. Но я допускал ошибку. Поэтому, экстренно вызвав телеграммой Дюрока и Эстампа, я все-таки был не совсем уверен в точности своих подозрений. Теперь дело ясно. Все велось и ведется тайно. Сегодня, когда вы отправились в экспедицию, я проходил мимо аквариума, который вы еще не видели, и застал там наших гостей, всех троих. Дверь в стеклянный коридор была полуоткрыта, и в этой части здания вообще почти никогда никто не бывает, так что я появился незамеченным. Томсон сидел на диванчике, покачивая ногой; Дигэ и Галуэй стояли у одной из витрин. Их руки были опущены и сплетены пальцами. Я отступил. Тогда Галуэй нагнулся и поцеловал Дигэ в шею.

– Ага! – вскричал я. – Теперь я все понимаю. Значит, он ей не брат?!

– Вы видите, – продолжал Поп, и его рука, лежавшая на столе, стала нервно дрожать. Моя рука тоже лежала на столе и так же задрожала, как рука Попа. Он нагнулся и, широко раскрыв глаза, произнес: – Вы понимаете? Клянусь, что Галуэй ее любовник, и мы даже не знаем, чем рисковал Ганувер, попав в такое общество. Вы видели золотую цепь и слышали, что говорилось при этом! Что делать?

– Очень просто, – сказал я. – Немедленно донести Гануверу, и пусть он отправит всех их вон в десять минут!

– Вначале я так и думал, но, размыслив о том с Дюроком, пришел вот к какому заключению: Ганувер мне просто-напросто не поверит, не говоря уже о всей щекотливости такого объяснения.

– Как же он не поверит, если вы это в и д е л и?

– Теперь я уже не знаю, видел ли я, – сказал Поп, – то есть видел ли так, как это было. Ведь это ужасно серьезное дело. Но довольно того, что Ганувер может усомниться в моем зрении. А тогда – что? Или я представляю, что я сам смотрю на Дигэ глазами и расстроенной душой Ганувера, – что же, вы думаете, я окончательно и вдруг поверю истории с поцелуем?

– Это правда, – сказал я, сообразив все его доводы. – Ну, хорошо, я слушаю вас.

Поп продолжал:

– Итак, надо увериться. Если подозрение подтвердится, – а я думаю, что эти три человека принадлежат к высшему разряду темного мира, – то наш план – такой план есть – развернется ровно в двенадцать часов ночи. Если же далее не окажется ничего подозрительного, план будет другой.

– Я вам помогу в таком случае, – сказал я. – Я – ваш. Но вы, кажется, говорили что-то о дереве.

– Вот и дерево, вот мы и пришли к нему. Только это надо сделать, когда стемнеет.

Он сказал, что с одной стороны фасада растет очень высокий дуб, вершина которого поднимается выше третьего этажа. В третьем этаже, против дуба, расположены окна комнат, занимаемых Галуэем, слева и справа от него, в том же этаже, помещаются Томсон и Дигэ. Итак, мы уговорились с Попом, что я влезу на это дерево после восьми, когда все разойдется готовиться к торжеству, и употреблю в дело таланты, так блестяще примененные мной под окном Молли.

После этого Поп рассказал о появлении Дигэ в доме. Выйдя в приемную на доклад о прибывшей издалека даме, желающей немедленно его видеть, Ганувер явился, ожидая услышать скрипучий голос благотворительницы лет сорока, с сильными жестами и блистающим, как ланцет, лорнетом, а вместо того встретил искусительницу Дигэ. Сквозь ее

застенчивость светилось желание отстоять причуду всем пылом двадцати двух лет, сильнейшим, чем рассчитанное кокетство, – смесь трусости и задора, вызова и готовности расплакаться. Она объяснила, что слухи о замечательном доме проникли в Бенарес и не дали ей спать. Она и не будет спать, пока не увидит всего. Жизнь потеряла для нее цену с того дня, когда она узнала, что есть дом с исчезающими стенами и другими головоломными тайнами. Она богата и объездила земной шар, но такого пирожного еще не пробовала.

Дигэ сопровождал брат, Галуэй, лицо которого во время этой тирады выражало просьбу не осудить молодую жизнь, требующую повиновения каждому своему капризу. Закоренелый циник улыбнулся бы, рассматривая пленительное лицо со сказкой в глазах, сияющих всем и всюду. Само собой, она была теперь средневековой принцессой, падающей от изнеможения у ворот волшебного замка. За месяц перед этим Ганувер получил решительное письмо Молли, в котором она сообщала, что уезжает навсегда, не дав адреса, но он временно уже устал горевать – горе, как и счастливое настроение, находит волной. Поэтому все пахнущее свежей росой могло найти доступ к левой стороне его груди. Он и Галуэй стали смеяться. «Ровно через двадцать один день, – сказал Ганувер, – ваше желание исполнится, этот срок назначен не мной, но я верен ему. В этом вы мне уступите, тем более что есть на что посмотреть». Он оставил их гостить; так началось. Вскоре явился Томсон, друг Галуэя, которому тоже отвели помещение. Ничто не вызывало особенных размышлений, пока из отдельных слов, взглядов – неуловимой, но подозрительной психической эманации всех трех лиц – у Попа не создалось уверенности, что необходимо экстренно вызвать Дюрока и Эстампа.

Таким образом, в основу сцены приема Ганувером Дигэ был положен характер Ганувера – его вкусы, представления о встречах и случаях; говоря с Дигэ, он слушал себя, выраженного прекрасной игрой.

Запахло таким густым дымом, как в битве Нельсона с испанским флотом, и я сказал страшным голосом:

– Как белка или змея! Поп, позвольте пожать вашу руку и знайте, что Санди, хотя он, может быть, моложе вас, отлично справится с задачей и похитрее!

Казалось, волнениям этого дня не будет конца. Едва я, закрепляя свои слова, стукнул кулаком по столу, как в дверь постучали и вошедший слуга объявил, что меня требует Ганувер.

– Меня? – струсив, спросил я.

– Санди. Это вы – Санди?

– Он – Санди, – сказал Поп, – и я иду с ним.

XIII

Мы прошли сквозь ослепительные лучи зал, по которым я следовал вчера за Попом в библиотеку, и застали Ганувера в картинной галерее. С ним был Дюрок, он ходил наискось от стола к окну и обратно. Ганувер сидел, положив подбородок в сложенные на столе руки, и задумчиво следил, как ходит Дюрок. Две белые статуи в конце галереи и яркий свет больших окон из целых стекол, доходящих до самого паркета, придавали огромному помещению открытый и веселый характер.

Когда мы вошли, Ганувер поднял голову и кивнул. Взглянув на Дюрока, ответившего мне пристальным взглядом понятного предупреждения, я подошел к Гануверу. Он указал стул, я сел, а Поп продолжал стоять, нервно водя пальцами по подбородку.

– Здравствуй, Санди, – сказал Ганувер. – Как тебе нравится здесь? Вполне ли тебя устроили?

– О да! – сказал я. – Все еще не могу опомниться.

– Вот как?! – задумчиво произнес он и замолчал. Потом, рассеянно поглядев на меня, прибавил с улыбкой: – Ты позван мной вот зачем. Я и мой друг Дюрок, который говорит о тебе в высоких тонах, решили устроить твою судьбу. Выбирай, если хочешь, не теперь, а строго обдумав: кем ты желаешь быть. Можешь назвать любую профессию. Но только не будь знаменитым шахматистом, который, получив ночью телеграмму, отправился утром на состязание в Лисс и выиграл из шести пять у самого Капабланки. В противном случае ты привыкнешь покидать своих друзей в трудные минуты их жизни ради того, чтобы заехать слоном в лоб королю.

– Одну из этих партий, – заметил Дюрок, – я назвал партией Ганувера и, представьте, выиграл ее всего четырьмя ходами.

– Как бы там ни было, Санди осудил вас в глубине сердца, – сказал Ганувер, – ведь так, Санди?

– Простите, – ответил я, – за то, что ничего в этом не понимаю.

– Ну, так говори о своих желаниях!

– Я моряк, – сказал я, – то есть я пошел по этой дороге. Если вы сделаете меня капитаном, мне больше, кажется, ничего не надо, так как все остальное я получу сам.

– Отлично. Мы пошлем тебя в адмиралтейскую школу.

Я сидел, тая и улыбаясь.

– Теперь мне уйти? – спросил я.

– Ну, нет. Если ты приятель Дюрока, то, значит, и мой, а поэтому я присоединю тебя к нашему плану. Мы все пойдем смотреть кое-что в этой лачуге. Тебе, с твоим живым соображением, это может принести пользу. Пока, если хочешь, сиди или смотри картины. Поп, кто приехал сегодня?

Я встал и отошел. Я был рассечен натрое: одна часть смотрела картину, изображавшую рой красавиц в туниках у колонн, среди роз, на фоне морской дали, другая часть видела самого себя на этой картине, в полной капитанской форме, орущего красавицам: «Левый галс! Подтянуть грот, рифы и брассы!» – а третья, по естественному устройству уха, слушала разговор.

Не могу передать, как действует такое обращение человека, одним поворотом языка приказывающего судьбе перенести Санди из небытия в капитаны. От самых моих ног до макушки поднималась нервная теплота. Едва принимался я думать о перемене жизни, как мысли эти перебивались картинами, галереей, Ганувером, Молли и всем, что я испытал здесь, и мне казалось, что я вот-вот полечу.

В это время Ганувер тихо говорил Дюроку:

– Вам это не покажется странным. Молли была единственной девушкой, которую я любил. Не

за что-нибудь, – хотя было «за что», но по той магнитной линии, о которой мы все ничего не знаем. Теперь все наболело во мне и уже как бы не боль, а жгучая тупость.

– Женщины догадливы, – сказал Дюрок, – а Дигэ наверно проницательна и умна.

– Дигэ... – Ганувер на мгновение закрыл глаза. – Все равно Дигэ лучше других, она, может быть, совсем хороша, но я теперь плохо вижу людей. Я внутренне утомлен. Она мне нравится.

– Так молода, и уже вдова, – сказал Дюрок. – Кто был муж?

– Ее муж был консул, в колонии, какой – не помню.

– Брат очень напоминает сестру, – заметил Дюрок, – я говорю о Галуэе.

– Напротив, совсем не похож! Дюрок замолчал.

– Я знаю, он вам не нравится, – сказал Ганувер, – но он очень забавен, когда в ударе. Его веселая юмористическая злость напоминает собаку-льва.

– Вот еще! Я не видал таких львов.

– Пуделя, – сказал Ганувер, развеселившись, – стриженного пуделя! Наконец мы соединились! – вскричал он, направляясь к двери, откуда входили Дигэ, Томсон и Галуэй.

Мне, свидетелю сцены у золотой цепи, довелось видеть теперь Дигэ в замкнутом образе молодой дамы, отношение которой к хозяину определялось лишь ее положением милой гостьи. Она шла с улыбкой, кивая и тараторя. Томсон взглянул сверх очков; величайшая приятность расплзлась по его широкому, мускулистому лицу; Галуэй шел, дергая плечом и щекой.

– Я ожидала застать большое общество, – сказала Дигэ. – Горничная подвела счет и уверяет, что утром прибыло человек двадцать.

– Двадцать семь, – вставил Поп, которого я теперь не узнал. Он держался ловко, почтительно и был своим, а я – я был чужой и стоял, мрачно вытаращив глаза.

– Благодарю вас, я скажу Микелетте, – холодно отозвалась Дигэ, – что она ошиблась.

Теперь я видел, что она не любит также Дюрока. Я заметил это по ее уху. Не смейтесь! Край маленького, как лепесток, уха был направлен к Дюроку с неприязненной остротой.

– Кто же навестил вас? – продолжала Дигэ, спрашивая Ганувера. – Я очень любопытна.

– Это будет смешанное общество, – сказал Ганувер. – Все приглашенные – живые люди.

– Морг в полном составе был бы немного мрачен для торжества, – объявил Галуэй.

Ганувер улыбнулся.

– Я выразился неудачно. А все-таки лучшего слова, чем слово ж и в о й, мне не придумать для человека, умеющего наполнять жизнь.

– В таком случае, мы все живы, – объявила Дигэ, – применяя ваше толкование.

– Но и само по себе, – сказал Томсон.

– Я буду принимать вечером, – заявил Ганувер, – пока же предпочитаю бродить в доме с

вами, Дюроком и Санди.

– Вы любите моряков, – сказал Галуэй, косясь на меня, – вероятно, вечером мы увидим целый экипаж капитанов.

– Наш Санди один стоит военного флота, – сказал Дюрок.

– Я вижу, он под особым покровительством, и не осмеливаюсь приближаться к нему, – сказала Дигэ, трогая веером подбородок. – Но мне нравятся ваши капризы, дорогой Ганувер, благодаря им вспоминаешь и вашу молодость. Может быть, мы увидим сегодня взрослых Санди, пыхтящих, по крайней мере, с улыбкой.

– Я не принадлежу к светскому обществу, – сказал Ганувер добродушно, – я – один из случайных людей, которым идиотически повезло и которые торопятся обратить деньги в жизнь, потому что лишены традиции накопления. Я признаю личный этикет и отвергаю кастовый.

– Мне попало, – сказала Дигэ, – очередь за вами, Томсон.

– Я уклоняюсь и уступаю свое место Галуэю, если он хочет.

– Мы, журналисты, неуязвимы, – сказал Галуэй, – как короли, и никогда не точим ножи вслух.

– Теперь тронемся, – сказал Ганувер, – пойдём послушаем, что скажет об этом Ксаверий.

– У вас есть римлянин? – спросил Галуэй. – И тоже живой?

– Если не испортился; в прошлый раз начал нести ересь.

– Ничего не понимаю, – Дигэ пожала плечом, – но должно быть что-то захватывающее.

Все мы вышли из галереи и прошли несколько комнат, где было хорошо, как в саду из дорогих вещей, если бы такой сад был. Поп и я шли сзади. При повороте он удержал меня за руку:

– Вы помните наш уговор? Дерево можно не трогать. Теперь задумано и будет все иначе. Я только что узнал это. Есть новые соображения по этому делу.

Я был доволен его сообщением, начиная уставать от подслушивания, и кивнул так усердно, что подбородком стукнулся в грудь. Тем временем Ганувер остановился у двери, сказав: «Поп!» Юноша поспешил с ключом открыть помещение. Здесь я увидел странную, как сон, вещь. Она произвела на меня, но, кажется, и на всех, неизгладимое впечатление: мы были перед человеком-автоматом, игрушкой в триста тысяч ценной, умеющей говорить.

XIV

Это помещение, не очень большое, было обставлено как гостиная, с глухим мягким ковром на весь пол. В кресле, спиной к окну, скрестив ноги и облокотясь на драгоценный столик, сидел, откинув голову, молодой человек, одетый как модная картинка. Он смотрел перед собой большими голубыми глазами, с самодовольной улыбкой на розовом лице, оттененном черными усиками. Короче говоря, это был точь-в-точь манекен из витрины. Мы все стали против него. Галуэй сказал:

– Надеюсь, ваш Ксаверий не говорит, в противном случае, Ганувер, я обвиню вас в

колдовстве и создам сенсационный процесс.

– В о т н о в о с т и! – раздался резкий отчетливо выговаривающий слова голос, и я вздрогнул.

– Д о в о л ь н о, е с л и в ы о б в и н и т е с е б я в н е у м е с т н о й ш у т к е!

– Ах! – сказала Дигэ и увела голову в плечи. Все были поражены. Что касается Галуэя, – тот положительно струсил, я это видел по беспомощному лицу, с которым он попятился назад. Даже Дюрок, нервно усмехнувшись, покачал головой.

– Уйдемте! – вполголоса сказала Дигэ. – Дело страшное!

– Надеюсь, Ксаверий нам не нанесет оскорблений? – шепнул Галуэй.

– О с т а н ь т е с ь, я н е з л о б и в, – сказал манекен таким тоном, как говорят с глухими, и переложил ногу на ногу.

– Ксаверий! – произнес Ганувер. – Позволь рассказать твою историю!

– М н е в с е р а в н о, – ответила кукла. – Я – м е х а н и з м.

Впечатление было удручающее и сказочное. Ганувер заметно наслаждался сюрпризом. Выдержав паузу, он сказал:

– Два года назад умирал от голода некто Никлас Экус, и я получил от него письмо с предложением купить автомат, над которым он работал пятнадцать лет. Описание этой машины было сделано так подробно и интересно, что с моим складом характера оставалось только посетить затейливого изобретателя. Он жил одиноко. В лачуге, при дневном свете, равно озаряющем это чинное восковое лицо и бледные черты неизлечимо больного Экуса, я заключил сделку. Я заплатил триста тысяч и имел удовольствие выслушать ужасный диалог человека со своим подобием. «Ты спас меня!» – сказал Экус, потрясая чеком перед автоматом, и получил в ответ: «Я тебя убил». Действительно, Экус, организм которого был разрушен длительными видениями тонкостей гениального механизма, скончался очень скоро после того, как разбогател, и я, сказав о том автомате, услышал такое замечание: «О н п р о д а л с в о ю ж и з н ь т а к ж е д е ш е в о, к а к с т о и т м о я!»

– Ужасно! – сказал Дюрок. – Ужасно! – повторил он в сильном возбуждении.

– Согласен. – Ганувер посмотрел на куклу и спросил: – Ксаверий, чувствуешь ли ты что-нибудь?

Все побледнели при этом вопросе, ожидая, может быть, потрясающего «да», после чего могло наступить смятение. Автомат качнул головой и скоро проговорил:

– Я – К с а в е р и й, н и ч е г о н е ч у в с т в у ю, п о т о м у ч т о т ы г о в о р и ш ь с а м с с о б о й.

– Вот ответ, достойный живого человека! – заметил Галуэй. – Что, что в этом болване? Как он устроен?

– Не знаю, – сказал Ганувер, – мне объясняли, так как я купил и патент, но я мало что понял. Принцип стенографии, радий, логическая система, разработанная с помощью чувствительных цифр, – вот, кажется, все, что сохранилось в моем уме. Чтобы вызвать слова, необходимо при обращении произносить «Ксаверий», иначе он молчит.

– Самолюбив, – сказал Томсон.

– И самодоволен, – прибавил Галуэй.

– И самовлюблен, – определила Дигэ. – Скажите ему что-нибудь, Ганувер, я боюсь!

– Хорошо. Ксаверий! Что ожидает нас сегодня и вообще?

– Вот это называется спросить основательно! – расхохотался Галуэй. Автомат качнул головой, открыл рот, захлопал губами, и я услышал резкий, как скрип ставни, ответ:

– Разве я прорицатель? Все вы умрете; а ты, спрашивающий меня, умрешь первый.

При таком ответе все бросились прочь, как облитые водой.

– Довольно, довольно! – вскричала Дигэ. – Он неуч, этот Ксаверий, и я на вас сердита, Ганувер! Это непростительное изобретение.

Я выходил последним, унося на затылке ответ куклы: «Сердись на саму себя!»

– Правда, – сказал Ганувер, пришедший в заметно нервное состояние, – иногда его речи огорошивают, бывает также, что ответ невпопад, хотя редко. Так, однажды, я произнес: «Сегодня теплый день», – и мне выскочили слова: «Давай выпьем!»

Все были взволнованы.

– Ну что, Санди? Ты удивлен? – спросил Поп.

Я был удивлен меньше всех, так как всегда ожидал самых невероятных явлений и теперь убедился, что мои взгляды на жизнь подтвердились блестящим образом. Поэтому я сказал:

– Это ли еще встретишь в загадочных дворцах?!

Все рассмеялись. Лишь одна Дигэ смотрела на меня, сдвинув брови, и как бы спрашивала: «Почему ты здесь? Объясни!»

Но мной не считали нужным или интересным заниматься так, как вчера, и я скромно стал сзади. Возникли предположения идти осматривать оранжерею, где помещались редкие тропические бабочки, осмотреть также вновь привезенные картины старых мастеров и статую, раскопанную в Тибете, но после «Ксаверия» не было ни у кого настоящей охоты ни к каким развлечениям. О нем начали говорить с таким увлечением, что спорам и восклицаниям не предвиделось конца.

– У вас много монстров? – сказала Гануверу Дигэ.

– Кое-что. Я всегда любил игрушки, может быть, потому, что мало играл в детстве.

– Надо вас взять в опеку и наложить секвестр на капитал до вашего совершеннолетия, – объявил Томсон.

– В самом деле, – продолжала Дигэ, – такая масса денег на... гм... прихоти. И какие прихоти!

– Вы правы, – очень серьезно ответил Ганувер. – В будущем возможно иное. Я не знаю.

– Так спросим Ксаверия! – вскричал Галуэй.

– Я пошутила. Есть прелесть в безубыточных расточениях.

После этого вознамерились все же отправиться смотреть тибетскую статую. От усталости я впал в одурь, плохо соображая, что делается. Я почти спал, стоя с открытыми глазами. Когда общество тронулось, я, в совершенном безразличии, пошел было за ним, но, когда его скрыла следующая дверь, я, готовый упасть на пол и заснуть, бросился к дивану, стоявшему

у стены широкого прохода, и сел на него в совершенном изнеможении. Я устал до отвращения ко всему. Аппарат моих восприятий отказывался работать. Слишком много было всего! Я опустил голову на руки, оцепенел, задремал и уснул. Как оказалось впоследствии, Поп возвратился, обеспокоенный моим отсутствием, и пытался разбудить, но безуспешно. Тогда он совершил настоящее предательство – он вернул всех смотреть, как спит Санди Пруэль, сраженный богатством, на диване загадочного дворца. И, следовательно, я был некоторое время зрелищем, но, разумеется, не знал этого.

– Пусть спит, – сказал Ганувер, – это хорошо – спать. Я уважаю сон. Не будите его.

XV

Я забежал вперед только затем, чтобы указать, как был крепок мой сон. Просто я некоторое время не существовал.

Открыв глаза, я повернулся и сладко заложил руки под щеку, намереваясь еще поспать. Между тем сознание тоже просыпалось, и, в то время как тело молило о блаженстве покоя, я увидел в дремоте Молли, раскалывающую орехи. Вслед нагрнуло все; холодными струйками выбежал сон из членов моих, – и в оцепенении неожиданности, так как после провала воспоминание явилось в потрясающем темпе, я вскочил, сел, встревожился и протер глаза.

Был вечер, а может быть, даже ночь. Огромное лунное окно стояло перед мной. Электричество не горело. Спокойная полутьма простиралась из дверей в двери, среди теней высоких и холодных покоев, где роскошь была погружена в сон. Лунный свет проникал глубину, как бы осматриваясь. В этом смещении сумерек с неприветливым освещением все выглядело иным, чем днем – подменившим материальную ясность призрачной лучистой тревогой. Линия света, отметив по пути блеск бронзовой дверной ручки, колесо статуи, серебро люстры, распыливалась в сумраке, одна на всю мраморную даль сверкала неизвестная точка, – зеркала или металлического предмета... почему знать? Вокруг меня лежало неведение. Я встал, пристыженный тем, что был забыт, как отбившееся животное, не понимая, что только деликатность оставила спать Санди Пруэля здесь, вместо того, чтобы волочить его полужаснувшее тело через сотню дверей.

Когда мы высыпаемся, нет нужды смотреть на часы, – внутри нас, если не точно, то с уверенностью, сказано уже, что спали мы долго. Без сомнения, мои услуги не были экстренно нужны Дюроку или Попу, иначе за мной было бы послано. Я был бы разыскан и вставлен опять в ход волнующей опасностью и любовью истории. Поэтому у меня что-то отняли, и я направился разыскивать ход вниз с чувством непоправимой потери. Я заснул указания памяти относительно направления, как шел сюда, – блуждал мрачно, наугад, и так торопясь, что не имел ни времени, ни желания любоваться обстановкой. Спросонок я зашел к балкону, затем, вывернувшись из обманчиво схожих пространств этой части здания, прошел к лестнице и, опустясь вниз, пополз на широкую площадку с запертыми кругом дверьми. Поднявшись опять, я предпринял круговое путешествие около наружной стены, стараясь видеть все время с одной стороны окна, но никак не мог найти галерею, через которую шел днем; найди я ее, можно было бы рассчитывать если не на немедленный успех, то хотя на то, что память начнет работать. Вместо этого я снова пришел к запертой двери и должен повернуть вспять или рискнуть погрузиться во внутренние проходы, где совершенно темно.

Устав, я присел и, сидя, рвался идти, но выдержал, пока не превозмог огорчения одиночества, лишавшего меня стойкой сообразительности. До этого я не трогал электрических выключателей, не из боязни, что озарится все множество помещений или раздастся звон тревоги, – это приходило мне в голову вчера, – но потому, что не мог их найти.

Я взял спички, светил около дверей и по нишам. Я был в прелестном углу среди мебели такого вида и такой хрупкости, что сесть на нее мог бы только чистоплотный младенец. Найдя штепсель, я рискнул его повернуть. Мало было мне пользы; хотя яркий свет сам по себе приятно освежил зрение, озарились лишь эти стены, напоминающие зеркальные пруды с отражениями сказочных перспектив. Разыскивая выключатели, я мог бродить здесь всю ночь. И так, оставив это намерение, я вышел вновь на поиски сообщения с низом дома и, когда вышел, услышал негромко доносящуюся сюда прекрасную музыку.

Как вкопанный я остановился: сердце мое забилося. Все заскакало во мне, и обида рванулась едва не слезами. Если до этого моя влюбленность в Дюрока, дом Ганувера, Молли была еще накрепко заколочена, то теперь все гвозди выскочили, и чувства мои заиграли вместе с отдаленным оркестром, слышимым как бы снаружи дома. Он провозгласил торжество и звал. Я слушал, мучаясь. Одна музыкальная фраза, – какой-то отрывистый перелив флейт, – манила и манила меня, положительно она описывала аромат грусти и увлечения. Тогда взволнованный, как будто это была моя музыка, как будто все лучшее, обещаемое ее звуками, ждало только меня, я бросился, стыдясь сам не зная чего, надеясь и трепеща, разыскивать проход вниз. В моих торопливых поисках я вышагал по неведомым пространствам, местами озаренным все выше восходящей луной, так много, так много раз останавливался, чтобы наспех сообразить направление, что совершенно закружился. Иногда, по близости к центру происходящего внизу, на который попадал случайно, музыка была слышна громче, дразня нарастающей явственностью мелодии. Тогда я приходил в еще большее возбуждение, совершая круги через все двери и повороты, где мог свободно идти. От нетерпения ныло в спине. Вдруг, с зачистившим сердцем, я услышал животрепещущий взрыв скрипок и труб прямо где-то возле себя, как мне показалось, и, миновав колонны, я увидел разрезанную сверху донизу огненной чертой портьеру. Это была лестница. Слезы выступили у меня на глазах. Весь дрожа, я отвел нетерпеливой рукой тяжелую материя, тронувшую по голове, и начал сходить вниз подгибающимися от душевной бури ногами. Та музыкальная фраза, которая пленила меня среди лунных пространств, звучала теперь прямо в уши, и это было как в день славы, после морской битвы у островов Ката-Гур, когда я, много лет спустя, выходил на раскаленную набережную Ахуан-Скапа, среди золотых труб и синих цветов.

XVI

Довольно было мне сойти по этой белой, сверкающей лестнице, среди художественных видений, под сталактитами хрустальных люстр, озаряющих растения, как бы только что перенесенные из тропического леса цвести среди блестящего мрамора, – как мое настроение выровнялось по размерам происходящего. Я уже не был главным лицом, которому казалось, что его присутствие самое важное. Блуждание наверху помогло тем, что, изнервничавшийся, стремительный, я был все же не так расстроен, как могло произойти обыкновенным порядком. Я сам шел к цели, а не был введен сюда. Однако то, что я увидел, разом уперлось в грудь, уперлось всем блеском своим и стало оттеснять прочь. Я начал робеть и, изрядно оробев, остановился, как пень, посреди паркета огромной, с настоящей далью, залы, где расхаживало множество народа, мужчин и женщин, одетых во фраки и красивейшие бальные платья. Музыка продолжала играть, поднимая мое настроение из робости на его прежнюю высоту.

Здесь было человек сто пятьдесят, может быть, двести, Часть их беседовала, рассеявшись группами, часть проходила через далекие против меня двери взад и вперед, а те двери открывали золото огней и яркие глубины стен, как бы полных мерцающим голубым дымом. Но благодаря зеркалам казалось, что здесь еще много других дверей; в их чистой пустоте

отражалась вся эта зала с наполняющими ее людьми, и я, лишь всмотревшись, стал отличать настоящие проходы от зеркальных феерий. Вокруг раздавались смех, говор; сияющие женские речи, восклицания, образуя непрерывный шум, легкий шум – ветер нарядной толпы. Возле сидящих женщин,двигающих веерами и поворачивающихся друг к другу, стояли, склоняясь, как шмели вокруг ясных цветов, черные фигуры мужчин в белых перчатках, душистых, щеголеватых, веселых. Мимо меня прошла пара стройных, мускулистых людей с упрямыми лицами; цепь девушек, колеблющихся и легких, – быстрой походкой, с цветами в волосах и сверкающими нитями вокруг тонкой шеи. Направо сидела очень толстая женщина с взбитой, седой прической. В круге расхохотавшихся мужчин стоял плотный, краснощекий толстяк, помахивающий рукой в кольцах; он что-то рассказывал. Слуги, опустив руки по швам, скользили среди движения гостей, лавируя и перебегая с ловкостью танцоров. А музыка, касаясь души холодом и огнем, несла все это, как ветер несет корабль, в Замечательную Страну.

Первую минуту я со скорбью ожидал, что меня спросят, что я тут делаю, и, не получив достаточного ответа, уведут прочь. Однако я вспомнил, что Ганувер назвал меня гостем, что я поэтому равный среди гостей, и, преодолев смущение, начал осматриваться, как попавшая на бал кошка, хотя не смел ни уйти, ни пройти куда-нибудь в сторону. Два раза мне показалось, что я вижу Молли, но – увы! – это были другие девушки, лишь издали похожие на нее. Лакей, пробегая с подносом, сердито прищурился, а я выдержал его взгляд с невинным лицом и даже кивнул. Несколько мужчин и женщин, проходя, взглядывали на меня так, как оглядывают незнакомого, поскользнувшегося на улице. Но я чувствовал себя глупо не с непривычки, а только потому, что был в полном неведении. Я не знал, соединился ли Ганувер с Молли, были ли объяснения, сцены, не знал, где Эстамп, не знал, что делают Поп и Дюрок. Кроме того, я никого не видел из них и в то время, как стал думать об этом еще раз, вдруг увидел входящего из боковых дверей Ганувера.

Еще в дверях, повернув голову, он сказал что-то шедшему с ним Дюроку и немедленно после того стал говорить с Дигэ, руку которой нес в сгибе локтя. К ним сразу подошло несколько человек. Седая дама, которую я считал прилепленной навсегда к своему креслу, вдруг встала, избоченясь, с быстротой гуся, и понеслась навстречу вошедшим. Группа сразу увеличилась, став самой большой из всех групп зала, и мое сердце сильно забилось, когда я увидел приближающегося к ней, как бы из зеркал или воздуха, – так неожиданно оказался он здесь, – Эстампа.

Я был уверен, что сейчас явится Молли, потому что подозревал, не был ли весь день Эстамп с ней.

Поколебавшись, я двинулся из плена шумного вокруг меня движения и направился к Гануверу, став несколько позади седой женщины, говорившей так быстро, что ее огромный бюст колыхался как пара пробковых шаров, кинутых утопающему.

Ганувер был кроток и бледен. Его лицо страшно осунулось, рот стал ртом старого человека. Казалось, в нем беспрерывно вздрагивает что-то при каждом возгласе или обращении. Дигэ, сняв свою руку в перчатке, складывала и раздвигала страусовый веер: ее лицо, ставшее еще красивее от смуглых голых плеч, выглядело властным, значительным. На ней был прозрачный дымчатый шелк. Она улыбалась. Дюрок первый заметил меня и, продолжая говорить с худощавым испанцем, протянул руку, коснувшись ею моего плеча. Я страшно обрадовался: вслед за тем обернулся и Ганувер, взглянув один момент рассеянным взглядом, но тотчас узнал меня и тоже протянул руку, весело потрепал мои волосы. Я стал, улыбаясь из глубины души. Он, видимо, понял мое состояние, так как сказал: «Ну что, Санди, дружок?» И от этих простых слов, от его прекрасной улыбки и явного расположения ко мне со стороны людей, встреченных только вчера, вся робость моя исчезла. Я вспыхнул, покраснел и возликовал.

– Что же, поспал? – сказал Дюрок. Я снова вспыхнул. Несколько людей посмотрели на меня с забавным недоумением. Ганувер втащил меня в середину.

– Это мой воспитанник, – сказал он. – Вам, дон Эстебан, нужен будет хороший капитан лет через десять, так вот он, и зовут его Санди... э, как его, Эстамп?

– Пруэль, – сказал я, – Санди Пруэль.

– Очень самолюбив, – заметил Эстамп, – смел и решителен, как Колумб.

Испанец молча вытащил из бумажника визитную карточку и протянул мне, сказав:

– Через десять лет, а если я умру, мой сын – даст вам какой-нибудь пароход.

Я взял карточку и, не посмотрев, сунул в карман. Я понимал, что это шутка, игра, у меня явилось желание поддержать честь старого, доброго кондотьера, каким я считал себя в тайниках души.

– Очень приятно, – заявил я, кланяясь с наивозможной грацией. – Я посмотрю на нее тоже через десять лет, а если умру, то оставлю сына, чтобы он мог прочесть, что там написано.

Все рассмеялись.

– Вы не ошиблись! – сказал дон Эстебан Гануверу.

– О! ну, нет, конечно, – ответил тот, и я был оставлен, – при триумфе и сердечном веселье. Группа перешла к другому концу зала. Я повернулся, еще, первый раз свободно вздохнув, прошел между всем обществом, как дикий мустанг среди нервных павлинов, и уселся в углу, откуда был виден весь зал, но где никто не мешал думать.

Вскоре увидел я Томсона и Галуэя с тремя дамами, в отличном расположении духа. Галуэй, дергая щекой, заложив руки в карманы и покачиваясь на носках, говорил и смеялся. Томсон благосклонно вслушивался; одна дама, желая перебить Галуэя, трогала его по руке сложенным веером, две другие, переглядываясь между собой, время от времени хохотали. Итак, ничего не произошло. Но что же было с Молли – девушкой Молли, покинувшей сестру, чтобы сдержать слово, с девушкой, которая милее и краше всех, кого я видел в этот вечер, должна была радоваться и сиять здесь и идти под руку с Ганувером, стыдясь себя и счастья, от которого хотела отречься, боясь чего-то, что может быть страшно лишь женщине? Какие причины удержали ее? Я сделал три предположения: Молли раздумала и вернулась; Молли больна и – Молли уже был а. – «Да, она была, – говорил я, волнуясь, как за себя, – и ее объяснения с Ганувером не устояли против Дигэ. Он изменил ей. Поэтому он страдает, пережив сцену, глубоко всколыхнувшую его, но бессильную вновь засветить солнце над его помраченной душой». Если бы я знал, где она теперь, то есть будь она где-нибудь близко, я, наверно, сделал бы одну из своих сумасшедших штучек, – пошел к ней и привел сюда; во всяком случае, попытался бы привести. Но, может быть, произошло такое, о чем нельзя догадаться. А вдруг она умерла и от Ганувера все скрыто!

Как только я это подумал, страшная мысль стала неотвязно вертеться, тем более что немного, известное мне в этом деле, оставляло обширные пробелы, допускающие любое предположение. Я видел Лемарена; этот сорт людей был мне хорошо знаком, и я знал, как изобретательны хулиганы, одержимые манией или корыстью. Решительно, мне надо было увидеть Попа, чтобы успокоиться.

Сам себе не отдавая в том отчета, я желал радости в сегодняшний вечер не потому только, что хотел счастливой встречи двух рук, разделенных сложными обстоятельствами, – во мне подымалось требование торжества, намеченного человеческой волей и страстным желанием,

таким красивым в этих необычайных условиях. Дело обстояло и разворачивалось так, что никакого другого конца, кроме появления Молли, – появления, опрокидывающего весь темный план, – веселого плеска майского серебряного ручья, – я ничего не хотел, и ничто другое не могло служить для меня оправданием тому, в чем, согласно неисследованным законам человеческих встреч, я принял невольное, хотя и поверхностное участие.

Не надо, однако, думать, что мысли мои в то время выразились такими словами, – я был тогда еще далек от привычного искусства взрослых людей, – обводить чертой слова мелькающие, как пена, образы. Но они не остались без выражения; за меня мир мой душевный выражала музыка скрытого на хорах оркестра, зовущая Замечательную Страну.

Да, всего только за двадцать четыре часа Санди Пруэль вырос, подобно растению индийского мага, посаженному семенем и через тридцать минут распускающему зеленые листья. Я был старше, умнее, – т и ш е. Я мог бы, конечно, с великим удовольствием сесть и играть, катая вареные крутые яйца, каковая игра называется «съешь скорлупку», – но мог также уловить суть несказанного в сказанном. Мне, положительно, был необходим Поп, но я не смел еще бродить, где хочу, отыскивая его, и когда он, наконец, подошел, заметив меня случайно, мне как бы подали напиток после соленого. Он был во фраке, перчатках, выглядя оттого по-новому, но мне было все равно. Я вскочил и пошел к нему.

– Ну, вот, – сказал Поп и, слегка оглянувшись, тихо прибавил: – Сегодня произойдет н е ч т о. Вы увидите. Я не скрываю от вас, потому что возбужден, и вы много сделали нам. Приготовьтесь: еще неизвестно, что может быть.

– Когда? Сейчас?

– Нет. Больше я ничего не скажу. Вы не в претензии, что вас оставили выспаться?

– Поп, – сказал я, не обращая внимания на его рассеянную шутливость, – дорогой Поп, я знаю, что спрашиваю глупо, но... но... я имею право. Я думаю так. Успокойте меня и скажите: что с Молли?

– Ну что вам Молли?! – сказал он, смеясь и пожимая плечами. – Молли, – он сделал ударение, – скоро будет Эмилия Ганувер, и мы пойдем к ней пить чай. Не правда ли?

– Как! Она здесь?

– Нет.

Я молчал с сердитым лицом.

– Успокойтесь, – сказал Поп, – не надо так волноваться. Все будет в свое время. Хотите мороженого?

Я не успел ответить, как он задержал шествующего с подносом Паркера, крайне озабоченное лицо которого говорило о том, что вечер по-своему отразился в его душе, сбив с ног.

– Паркер, – сказал Поп, – мороженого мне и Санди, большие порции.

– Слушаю, – сказал старик, теперь уже с чрезвычайно оживленным, даже заинтересованным видом, как будто в требовании мороженого было все дело этого вечера. – Какого же? Земляничного, апельсинового, фисташкового, розовых лепестков, сливочного, ванильного, крем-брюле или...

– Кофейного, – перебил Поп. – А вам, Санди?

Я решил показать «бывалость» и потребовал ананасового, но – увы! – оно было хуже

кофейного, которое я попробовал из хрустальной чашки у Попа. Пока Паркер ходил, Поп называл мне имена некоторых людей, бывших в зале, но я все забыл. Я думал о Молли и своем чувстве, зовущем в Замечательную Страну.

Я думал также: как просто, как великодушно по отношению ко мне было бы Попу, – еще днем, когда мы ели и пили, – сказать: «Санди, вот какое у нас дело...» – и ясным языком дружеского доверия посвятить меня в рыцари запутанных тайн. Осторожность, недолгое знакомство и все прочее, что могло Попу мешать, я отбрасывал, даже не трудясь думать об этом, – так я доверял сам себе.

Поп молчал, потом от великой щедрости воткнул в распухшую мою голову последнюю загадку.

– Меня не будет за столом, – сказал он, – очень вас прошу, не расспрашивайте о причинах этого вслух и не ищите меня, чтобы на мое отсутствие было обращено как можно меньше внимания.

– Я не так глуп, – ответил я с обидой, бывшей еще острее от занывшего в мороженом зуба, – не так я глуп, чтобы говорить мне это, как маленькому.

– Очень хорошо, – сказал он сухо и ушел, бросив меня среди рассеявшихся вокруг этого места привлекательных, но ненужных мне дам, и я стал пересаживаться от них, пока не очутился в самом углу. Если бы я мог сосчитать количество удивленных взглядов, брошенных на меня в тот вечер разными людьми, – их, вероятно, хватило бы, чтобы заставить убежать с трибуны самого развязного оратора. Что до этого?! Я сидел, окруженный спинами с белыми и розовыми вырезами, вдыхал тонкие духи и разглядывал полы фраков, мешающие видеть движение в зале. Моя мнительность обострилась припадком страха, что Поп расскажет о моей грубости Гануверу и меня не пустят к столу; ничего не увидев, всеми забытый, отверженный, я буду бродить среди огней и цветов, затем Томсон выстрелит в меня из тяжелого револьвера, и я, испуская последний вздох на руках Дюрока, скажу плачущей надо мной Молли: «Не плачьте. Санди умирает как жил, но он никогда не будет спрашивать вслух, где ваш щеголеватый Поп, потому что я воспитан морем, обучающим молчанию».

Так торжественно прошла во мне эта сцена и так разволновала меня, что я хотел уже встать, чтобы отправиться в свою комнату, потянуть шнурок стенного лифта и сесть мрачно вдвоем с бутылкой вина. Вдруг появился человек в ливрее с галунами и что-то громко сказал. Движение в зале изменилось. Гости потекли в следующую залу, сверкающую голубым дымом, и, став опять любопытен, я тоже пошел среди легкого шума нарядной, оживленной толпы, изредка и не очень скандально сталкиваясь с соседями по шествию.

XVII

Войдя в голубой зал, где на великолепном паркете отражались огни люстр, а также и мои до колен ноги, я прошел мимо оброненной розы и поднял ее на счастье, что, если в цветке будет четное число лепестков, я увижу сегодня Молли. Обрывая их в зажатую горсть, чтобы не сорить, и спотыкаясь среди тренов, я заметил, что на меня смотрит пара черных глаз с румяного кокетливого лица. «Любит, не любит, – сказала мне эта женщина, – как у вас вышло?» Ее подруги окружили меня, и я поспешно сунул руку в карман, озираясь, среди красавиц, поднявших Санди, правда, очень мило, – на смех. Я сказал: «Ничего не вышло», – и, должно быть, был уныл при этом, так как меня оставили, сунув в руку еще цветок, который я машинально положил в тот же карман, дав вдруг от большой злости клятву никогда не жениться.

Я был сбит, но скоро оправился и стал осматриваться, куда попал. Между прочим, я прошел три или четыре двери. Если была очень велика первая зала, то эту я могу назвать по праву – громадной. Она была обита зеленым муаром, с мраморным полом, углубления которого тонкой причудливой резьбы были заполнены отполированным серебром. На стенах отсутствовали зеркала и картины; от потолка к полу они были вертикально разделены, в равных расстояниях, лиловым багетом, покрытым мельчайшим серебряным узором. Шесть люстр висело по одной линии, проходя серединой потолка, а промежутки меж люстр и углы зала блестели живописью. Окон не было, других дверей тоже не было; в нишах стояли статуи. Все гости, вошедши сюда, помельчали ростом, как если бы я смотрел с третьего этажа на площадь, – так высок, и просторен был размах помещения. Добрую треть пространства занимали столы, накрытые белейшими, как пена морская, скатертями; столы-сады, так как все они сияли ворохами свежих цветов. Столы, или, вернее, один стол в виде четырехугольника, пустого внутри, с проходами внутрь на узких концах четырехугольника, образовывал два прямоугольных «С», обращенных друг к другу и не совсем плотно сомкнутых. На них сплошь, подобно узору цветных камней, сверкали огни вин, золото, серебро и дивные вазы, выпускающие среди редких плодов зеленую тень ползучих растений, завитки которых лежали на скатерти. Вокруг столов ждали гостей легкие кресла, обитые оливковым бархатом. На равном расстоянии от углов столового четырехугольника высоко вздымались витые бронзовые колонны с гигантскими канделябрами, и в них горели настоящие свечи. Свет был так силен, что в самом отдаленном месте я различал с точностью черты людей; можно сказать, что от света было жарко глазам.

Все усаживались, шумя платьями и движением стульев; стоял рокот, обвеянный гулким эхом. Вдруг какое-нибудь одно слово, отчетливо вырвавшись из гула, явственно облетало стены. Я пробирался к тому месту, где видел Ганувера с Дюроком и Дигэ, но, как ни искал, не мог заметить Эстампа и Попа. Ища глазами свободного места на этом конце стола – ближе к двери, которой вошел сюда, я видел много еще не занятых мест, но скорее дал бы отрубить руку, чем сел сам, боясь оказаться вдали от знакомых лиц. В это время Дюрок увидел меня и, покинув беседу, подошел с ничего не значащим видом.

– Ты сядешь рядом со мной, – сказал он, – поэтому сядь на то место, которое будет от меня слева, – сказав это, он немедленно удалился, и в скором времени, когда большинство уселось, я занял кресло перед столом, имея по правую руку Дюрока, а по левую – высокую, тощую, как жердь, даму лет сорока с лицом рыжего худого мужчины и такими длинными ногтями мизинцев, что, я думаю, она могла смело обходиться без вилки. На этой даме бриллианты висели, как смородина на кусте, а острый голый локоть чувствовался в моем боку даже на расстоянии.

Ганувер сел напротив, будучи от меня наискось, а против него между Дюроком и Галуэем поместилась Дигэ.

Томсон сидел между Галуэем и тем испанцем, карточку которого я собирался рассмотреть через десять лет.

Вокруг меня не прерывался разговор. Звук этого разговора перелетал от одного лица к другому, от одного к двум, опять к одному, трем, двум и так беспрерывно, что казалось, все говорят, как инструменты оркестра, развивая каждый свои ноты – слова. Но я ничего не понимал. Я был обескуражен стоящим передо мной прибором. Его надо было бы поставить в музей под стеклянный колпак. Худая дама, приложив к глазам лорнет, тщательно осмотрела меня, вогнав в робость, и что-то сказала, но я, ничего не поняв, ответил: «Да, это так». Она больше не заговаривала со мной, не смотрела на меня, и я был от души рад, что чем-то ей не понравился. Вообще я был как в тумане. Тем временем, начиная разбираться в происходящем, то есть принуждая себя замечать отдельные черты действия, я видел, что вокруг столов катятся изящные позолоченные тележки на высоких колесах, полные блестящей посуды, из-под крышек которой вьется пар, а под дном горят голубые огни

спиртовых горелок. Моя тарелка исчезла и вернулась из откуда-то взявшейся в воздухе руки, – с чем? Надо было съесть это, чтобы узнать. Запахло такой гастрономией, такими хитростями кулинарии, что казалось, стоит съесть немного, как опьянеешь от одного возбуждения при мысли, что ел это ароматическое художество. И вот, как, может быть, ни покажется странным, меня вдруг захлестнул зверский мальчишеский голод, давно накоплявшийся среди подавляющих его впечатлений; я осушил высокий прозрачный стакан с черным вином, обрел самого себя и съел дважды все без остатка, почему тарелка вернулась полная в третий раз. Я оставил ее стоять и снова выпил вина. Со всех сторон видел я подносимые к губам стаканы и бокалы. Под потолком в другом конце зала с широкого балкона грянул оркестр и продолжал тише, чем шум стола, напоминая о блистающей Стране.

В это время начали бить невидимые часы, ясно и медленно пробило одиннадцать, покрыв звуком все, – шум и оркестр. В разговоре, от меня справа, прозвучало слово «Эстамп».

– Где Эстамп? – сказал Ганувер Дюроку. – После обеда он вдруг исчез и не появлялся. А где Поп?

– Не далее, как полчаса назад, – ответил Дюрок, – Поп жаловался мне на невыносимую мигрень и, должно быть, ушел прилечь. Я не сомневаюсь, что он явится. Эстампа же мы вряд ли дождемся.

– Почему?

– А... потому, что я видел его... тэт-а-тэт...

– Т-так, – сказал Ганувер, потускнев, – сегодня все уходят, начиная с утра. Появляются и исчезают. Вот еще нет капитана Орсуну. А я так ждал этого дня...

В это время подлетел к столу толстый черный человек с бритым, круглым лицом, холеным и загорелым.

– Вот я, – сказал он, – не трогайте капитана Орсуну. Ну, слушайте, какая была история! У нас завелись феи!

– Как, – феи?! – сказал Ганувер. – Слушайте, Дюрок, это забавно!

– Следовало привести фею, – заметила Дигэ, делая глоток из узкого бокала.

– Понятно, что вы опоздали, – заметил Галуэй. – Я бы совсем не пришел.

– Ну, да, – вы, – сказал капитан, который, видимо, торопился поведать о происшествии. В одну секунду он выпил стакан вина, ковырнул вилок в тарелке и стал чистить грушу, помахивая ножом и приподнимая брови, когда, рассказывая, удивлялся сам. – Вы – другое дело, а я, видите, очень занят. Так вот, я отвел яхту в док и возвращался на катере. Мы плыли около старой дамбы, где стоит заколоченный павильон. Было часов семь, и солнце садилось. Катер шел близко к кустам, которыми поросла дамба от пятого бакена до Ледяного Ручья. Когда я поравнялся с южным углом павильона, то случайно взглянул туда и увидел среди кустов, у самой воды, прекрасную молодую девушку в шелковом белом платье, с голыми руками и шеей, на которой сияло пламенное жемчужное ожерелье. Она была босиком...

– Босиком, – вскричал Галуэй, в то время как Ганувер, откинувшись, стал вдруг напряженно слушать. Дюрок хранил любезную, непроницаемую улыбку, а Дигэ слегка приподняла брови и весело свела их в улыбку верхней части лица. Все были заинтересованы.

Капитан, закрыв глаза, категорически помотал головой и с досадой вздохнул.

– Она была босиком, – это совершенно точное выражение, и туфли ее стояли рядом, а чулки висели на ветке, – ну право же, очень миленькие чулочки, – паутина и блеск. Фея держала ногу в воде, придерживаясь руками за ствол орешника. Другая ее нога, – капитан метнул Дигэ покаянный взгляд, прервав сам себя, – прошу прощения, – другая ее нога была очень мала. Ну, разумеется, та, что была в воде, не выросла за одну минуту...

– Нога... – перебила Дигэ, рассматривая свою тонкую руку.

– Да. Я сказал, что виноват. Так вот, я крикнул: «Стоп! Задний ход!» И мы остановились, как охотничья собака над перепелкой. Я скажу, берите кисть, пишите ее. Это была фея, клянусь честью! – «Послушайте, – сказал я, – кто вы?...» Катер обогнул кусты и предстал перед ее – не то чтобы недовольным, но я сказал бы, – не желающим чего-то лицом. Она молчала и смотрела на нас, я сказал: «Что вы здесь делаете?» Представьте, ее ответ был такой, что я перестал сомневаться в ее волшебном происхождении. Она сказала очень просто и вразумительно, но голосом, – о, какой это красивый был голос! – не простого человека был голос, голос был...

– Ну, – перебил Томсон, с характерной для него резкой тишиной тона, – кроме голоса, было еще что-нибудь?

Разгоряченный капитан нервно отодвинул свой стакан.

– Она сказала, – повторил капитан, у которого покраснели виски, – вот что: «Да, у меня затекла нога, потому что эти каблуки выше, чем я привыкла носить». Все! А? – Он хлопнул себя обеими руками по коленям и спросил: – Каково? Какая барышня ответит так в такую минуту? Я не успел влюбиться, потому что она, грациозно присев, собрала свое хозяйство и исчезла.

И капитан принялся за вино.

– Это была горничная, – сказала Дигэ, – но так как солнце садилось, его эффект подействовал на вас субъективно.

Галуэй что-то промышчал. Вдруг все умолкли, – чье-то молчание, наступив внезапно и круто, закрыло все рты. Это умолк Ганувер, и до того почти не проронивший ни слова, а теперь молчавший, с странным взглядом и бледным лицом, по которому стекал пот. Его глаза медленно повернулись к Дюроку и остановились, но в ответившем ему взгляде был только спокойный свет.

Ганувер вздохнул и рассмеялся, очень громко и, пожалуй, несколько дольше, чем переносят весы нервного такта.

– Орсуна, радость моя, капитан капитанов! – сказал он. – На мысе Гардена с тех пор, как я купил у Траулера этот дом, поселилось столько народа, что женское население стало очень разнообразно. Ваша фея Маленькой Ноги должна иметь папу и маму; что касается меня, то я не вижу здесь пока другой феи, кроме Дигэ Альвавиз, но и та не может исчезнуть, я думаю.

– Дорогой Эверест, ваше «пока» имеет не совсем точный смысл, – сказала красавица, владея собой как нельзя лучше и, по-видимому, не придавая никакого значения рассказу Орсуны.

Если был в это время за столом человек, боявшийся обратить внимание на свои пылающие щеки, – то это я.

Сердце мое билось так, что вино в стакане, который я держал, вздрагивало толчками. Без всяких доказательств и объяснений я знал уже, что и капитан видел Молли и что она будет здесь здоровая и нетронутая, под защитой верного друзьям Санди.

Разговор стал суше, нервнее, затем перешел в град шуток, которыми осыпали капитана. Он сказал:

– Я опоздал по иной причине. Я ожидал возвращения жены с поездом десять двенадцать, но она, как я теперь думаю, приедет завтра.

– Очень жаль, – сказал Ганувер, – а я надеялся увидеть вашу милую Бетси. Надеюсь, фея не повредила ей в вашем сердце?

– Хо! Конечно, нет.

– Глаз художника и сердце бульдога! – сказал Галуэй. Капитан шумно откашлялся.

– Не совсем так. Глаз бульдога в сердце художника. А впрочем, я налью себе еще этого превосходного вина, от которого делается сразу четыре глаза.

Ганувер посмотрел в сторону. Тотчас подбежал слуга, которому было отдано короткое приказание. Не прошло минуты, как три удара в гонг связали шум, и стало если не совершенно тихо, то довольно покойно, чтоб говорить. Ганувер хотел говорить, – я видел это по устремленным на него взглядам; он выпрямился, положив руки на стол ладонями вниз, и приказал оркестру молчать.

– Гости! – произнес Ганувер так громко, что было всем слышно; отчетливый резонанс этой огромной залы позволял в меру напрягать голос. – Вы – мои гости, мои приятели и друзья. Вы оказали мне честь посетить мой дом в день, когда четыре года назад я ходил еще в сапогах без подошв и не знал, что со мной будет.

Ганувер замолчал. В течение этой сцены он часто останавливался, но без усилия или стеснения, а как бы к чему-то прислушиваясь, – и продолжал так же спокойно:

– Многие из вас приехали пароходом или по железной дороге, чтобы доставить мне удовольствие провести с вами несколько дней.

Я вижу лица, напоминающие дни опасности и веселья, случайностей, походов, тревог, дел и радостей.

Под вашим начальством, Том Клертон, я служил в таможне Сан-Риоля, и вы бросили службу, когда я был несправедливо обвинен капитаном «Терезы» в попустительстве другому пароходу – «Орландо».

Амелия Корниус! Четыре месяца вы давали мне в кредит комнату, завтрак и обед, и я до сих пор не заплатил вам, – по малодушию или легкомыслию, – не знаю, но не заплатил. На днях мы выясним этот вопрос.

Вильям Вильямсон! На вашей вилле я выздоровел от тифа, и вы каждый день читали мне газеты, когда я после кризиса не мог поднять ни головы, ни руки.

Люк Арадан! Вы, имея дело с таким неврастеником-миллионером, как я, согласились взять мой капитал в свое ведение, избавив меня от деловых мыслей, жестов, дней, часов и минут, и в три года увеличили основной капитал в тридцать семь раз.

Генри Токвиль! Вашему банку я обязан удачным залогом, сохранением секрета и возвращением золотой цепи.

Лейтенант Глаудис! Вы спасли меня на охоте, когда я висел над пропастью, удерживаясь сам не знаю за что.

Георг Барк! Вы бросились за мной в воду с борта «Индианы», когда я упал туда во время шторма вблизи Адена.

Леон Дегуст! Ваш гений воплотил мой лихорадочный бред в строгую и прекрасную конструкцию того здания, где мы сидим. Я встаю приветствовать вас и поднимаю этот бокал за минуту гневного фырканья, с которым вы первоначально выслушали меня, и высмеяли, и багровели четверть часа; наконец, сказали: «Честное слово, об этом стоит подумать. Но только я припишу на доске у двери: архитектор Дегуст, временно помешавшись, просит здравые умы не беспокоить его месяца три».

Смотря в том направлении, куда глядел Ганувер, я увидел старого безобразного человека с надменным выражением толстого лица и иронической бровью; выслушав, Дегуст грузно поднялся, уперся ладонями в стол и, посмотрев вбок, сказал:

– Я очень польщен.

Выговорив эти три слова, он сел с видом крайнего облегчения. Ганувер засмеялся.

– Ну, – сказал он, вынимая часы, – назначено в двенадцать, теперь без пяти минут полночь. – Он задумался с остывшей улыбкой, но тотчас встрепенулся: – Я хочу, чтобы не было на меня обиды у тех, о ком я не сказал ничего, но вы видите, что я все хорошо помню. Итак, я помню обо всех все, – все встречи и разговоры; я снова пережил прошлое в вашем лице, и я так же в нем теперь, как и тогда. Но я должен еще сказать, что деньги дали мне возможность осуществить мою манию. Мне не объяснить вам ее в кратких словах. Вероятно, страсть эта может быть названа так: могущество жеста. Еще я представлял себе второй мир, существующий за стеной, тайное в явном; непоколебимость строительных громад, которой я могу играть давлением пальца. И, – я это понял недавно, – я ждал, что, осуществив прихоть, ставшую прямой потребностью, я, в глубине тайных зависимостей наших от формы, найду равное ее сложности содержание. Едва ли мои забавы ума, имевшие, однако, неодолимую власть над душой, были бы осуществлены в той мере, как это сделал по моему желанию Дегуст, если бы не обещание, данное мной... одному лицу – дело относится к прошлому. Тогда мы, два нищих, сидя под крышей заброшенного сарая, на земле, где была закопана нами груда чистого золота, в мечтах своих, естественно, ограбили всю Шехерезаду. Это лицо, о судьбе которого мне теперь ничего не известно, обладало живым воображением и страстью обставлять дворцы по своему вкусу. Должен сознаться, я далеко отставал от него в искусстве придумывать. Оно побило меня такими картинами, что я был в восторге. Оно говорило: «Уж если мечтать, то мечтать...»

В это время начало бить двенадцать.

– Дигэ, – сказал Ганувер, улыбаясь ей с видом заговорщика, – ну-ка, потряните стариной Али-Бабы и его сорока разбойников!

– Что же произойдет? – закричал любопытный голос с другого конца стола.

Дигэ встала, смеясь.

– Мы вам покажем! – заявила она, и если волновалась, то нельзя ничего было заметить. – Откровенно скажу, я сама не знаю, что произойдет. Если дом станет летать по воздуху, держитесь за стулья!

– Вы помните – как?... – сказал Ганувер Дигэ.

– О да. Вполне.

Она подошла к одному из огромных канделябров, о которых я уже говорил, и протянула руку к

его позолоченному стволу, покрытому ниспадающими выпуклыми полосками. Всмотревшись, чтобы не ошибиться, Дигэ нашла и отвела вниз одну из этих полосок. Ее взгляд расширился, лицо слегка дрогнуло, не удержавшись от мгновения торжества, блеснувшего затаенной чертой. И – в то самое мгновение, когда у меня авансом стала кружиться голова, – все осталось, как было, на своем месте. Еще некоторое время бил по нервам тот внутренний счет, который ведет человек, если курок дал осечку, ожидая запоздавшего выстрела, затем поднялись шум и смех.

– Снова! – закричал дон Эстебан.

– Штраф, – сказал Орсуна.

– Нехорошо дразнить маленьких! – заметил Галуэй.

– Фу, как это глупо! – вскричала Дигэ, топнув ногой. – Как вы зло шутите, Ганувер!

По ее лицу пробежала нервная тень; она решительно отошла, сев на свое место и кусая губы.

Ганувер рассердился. Он вспыхнул, быстро встал и сказал:

– Я не виноват. Наблюдение за исправностью поручено Попу. Он будет призван к ответу. Я сам...

Досадуя, как это было заметно по его резким движениям, он подошел к канделябру, двинул металлический завиток и снова отвел его. И, повинувшись этому незначительному движению, все стены зала, кругом, вдруг отделились от потолка пустой, светлой чертой и, разом погружаясь в пол, исчезли. Это произошло бесшумно. Я закачался. Я, вместе с сиденьем, как бы поплыл вверх.

XVIII

К тому времени я уже бессознательно твердил: «Молли не будет», – испытав душевную пустоту и трезвую горечь последнего удара часов, вздрагивая перед тем от каждого восклицания, когда мне чудилось, что появились новые лица. Но падение стен, причем это совершилось так безупречно плавно, что не заколебалось даже вино в стакане, – выколотило из меня все чувства одним ужасным ударом. Мне казалось, что зала взметнулась на высоту, среди сказочных колоннад. Все, кто здесь был, вскрикнули; испуг и неожиданность заставили людей повскакать. Казалось, взревели незримые трубы; эффект подействовал как обвал и обернулся сиянием сказочно яркой силы, – так резко засияло оно.

Чтобы изобразить зрелище, открывшееся в темпе апоплексического удара, я вынужден применить свое позднейшее знание искусства и материала, двинутых Ганувером из небытия в атаку собрания. Мы были окружены колоннадой черного мрамора, отраженной прозрачной глубиной зеркала, шириной не менее двадцати футов и обходящего пол бывшей залы мнимым четырехугольным провалом. Ряды колонн, по четыре в каждом ряду, были обращены флангом к общему центру и разделены проходами одинаковой ширины по всему их четырехугольному строю. Цоколи, на которых они стояли, были высоки и массивны. Меж колонн сыпались один выше другого искрящиеся водяные стебли фонтанов, – три струи на каждый фонтан, в падении они имели вид изогнутого пера. Все это, повторенное прозрачным отражающим низом, стояло как одна светлая глубина, выложенная вверху и внизу взаимно опрокинутой колоннадой. Линия отражения, находясь в одном уровне с полом залы и полами

пространств, которые сверкали из-за колонн, придавала основе зрелища видимость ковров, разостланных в воздухе. За колоннами, в свете хрустальных ламп вишневого цвета, бросающих на теплую белизну перламутра и слоновой кости отсвет зари, стояли залы-видения. Блеск струился, как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь, мрамор, гигантские зеркала и гобелены с бисерной глубиной в бледном тумане рисунка странных пейзажей; мебель, прихотливее и прелестнее воздушных гирлянд в лунную ночь, не вызывала даже желания рассмотреть подробности. Задуманное и явленное, как хор, действующий согласием множества голосов, это артистическое безумие сияло из-за черного мрамора, как утро сквозь ночь.

Между тем дальний от меня конец залы, под галереей для оркестра, выказывал зрелище, где его творец сошел из поражающей красоты к удовольствию точного и законченного впечатления. Пол был застлан сплошь белым мехом, чистым, как слой первого снега. Слева сверкал камин литого серебра с узором из малахита, а стены, от карниза до пола, скрывал плющ, пропуская блеск овальных зеркал ковром темно-зеленых листьев; внизу, на золоченой решетке, обходящей три стены, вился желтый узор роз. Эта комната или маленькая зала, с белым матовым светом одной люстры, – настоящего жемчужного убора из прозрачных шаров, свесившихся опрокинутым конусом, – совершенно остановила мое внимание; я засмотрелся в ее прекрасный уют, и, обернувшись наконец взглянуть, нет ли еще чего сзади меня, увидел, что Дюрок встал, протянув руку к дверям, где на черте входа остановилась девушка в белом и гибком, как она сама, платье, с разгоревшимся, нервно спокойным лицом, храбро устремив взгляд прямо вперед. Она шла, закусив губку, вся – ожидание. Я не узнал Молли, – так преобразилась она теперь: но тотчас схватило в горле, и все, кроме нее, пропало. Как безумный, я закричал:

– Смотрите, смотрите! Это Молли! Она пришла! Я знал, что придет!

Ужасен был взгляд Дюрока, которым он хватил меня, как жезлом. Ганувер, побледнев, обернулся, как на пружинах, и все, кто был в зале, немедленно посмотрели в эту же сторону. С Молли появился Эстамп; он только взглянул на Ганувера и отошел. Наступила чрезвычайная тишина, – совершенное отсутствие звука, и в тишине этой, оброненное или стукнутое, тонко прозвенело стекло.

Все стояли по шею в воде события, нахлынувшего внезапно. Ганувер подошел к Молли, протянув руки, с забывшимся и диким лицом. На него было больно смотреть, – так вдруг ушел он от всех к одной, которую ждал. «Что случилось?» – прозвучал осторожный шепот. В эту минуту оркестр, мягко двинув мелодию, дал знать, что мы прибыли в Замечательную Страну.

Дюрок махнул рукой на балкон музыкантам с такой силой, как будто швырнул камнем. Звуки умолкли. Ганувер взял приподнятую руку девушки и тихо посмотрел ей в глаза.

– Это вы, Молли? – сказал он, оглядываясь с улыбкой.

– Это я, милый, я пришла, как обещала. Не грустите теперь!

– Молли, – он хрипло вздохнул, держа руку у горла, потом притянул ее голову и поцеловал в волосы. – Молли! – повторил Ганувер. – Теперь я буду верить всему! – Он обернулся к столу, держа в руке руку девушки, и сказал: – Я был очень беден. Вот моя невеста, Эмилия Варрен. Я не владею собой. Я не могу больше владеть собой, и вы не осудите меня.

– Это и есть фея! – сказал капитан Орсун. – Клянусь, это она!

Дрожащая рука Галуэя, укрепившего монокль, резко упала на стол.

Дигэ, опустив внимательный взгляд, которым осматривала вошедшую, встала, но Галуэй

усадил ее сильным, грубым движением.

– Не смей! – сказал он. – Ты будешь сидеть.

Она опустила с презрением и тревогой, холодно двинув бровью. Томсон, прикрыв лицо рукой, сидел, катая хлебный шарик. Я все время стоял. Стояли также Дюрок, Эстамп, капитан и многие из гостей. На праздник, как на луг, легла тень. Началось движение, некоторые вышли из-за стола, став ближе к нам.

– Это – вы? – сказал Ганувер Дюроку, указывая на Молли.

– Нас было трое, – смеясь, ответил Дюрок. – Я, Санди, Эстамп.

Ганувер сказал:

– Что это... – Но его голос оборвался. – Ну, хорошо, – продолжал он, – сейчас не могу я благодарить. Вы понимаете. Оглянитесь, Молли, – заговорил он, ведя рукой вокруг, – вот все то, как вы строили на берегу моря, как это нам представлялось тогда. Узнаете ли вы теперь?

– Не надо... – сказала Молли, потом рассмеялась. – Будьте спокойнее. Я очень волнуюсь.

– А я? Простите меня! Если я помешаюсь, это так и должно быть. Дюрок! Эстамп! Орсуна! Санди, плут! И ты тоже молчал, – вы все меня подождли с четырех концов! Не сердитесь, Молли! Молли, скажите что-нибудь! Кто же мне объяснит все?

Девушка молча сжала и потрясла его руку, мужественно обнажая этим свое сердце, которому пришлось испытать так много за этот день. Ее глаза были полны слез.

– Эверест, – сказал Дюрок, – это еще не все!

– Совершенно верно, – с вызовом откликнулся Галуэй, вставая и подходя к Гануверу. – Кто, например, объяснит мне кое-что непонятное в деле моей сестры, Дигэ Альвавиз? Знает ли эта девушка?

– Да, – растерявшись, сказала Молли, взглядывая на Дигэ, – я знаю. Но ведь я – здесь.

– Наконец, избавьте меня... – произнесла Дигэ, вставая, – от какой бы то ни было вашей позы, Галуэй, по крайней мере, в моем присутствии.

– Август Тренк, – сказал, прихлопывая всех, Дюрок Галуэю, – я объясню, что случилось. Ваш товарищ, Джек Гаррисон, по прозвищу «Вас-ис-дас» и ваша любовница Этель Мейер должны понять мой намек или признать меня довольно глупым, чтобы уметь выяснить положение. Вы проиграли!

Это было сказано громко и тяжело. Все оцепенели. Гости, покинув стол, собрались тучей вокруг налетевшего действия. Теперь мы стояли среди толпы.

– Что это значит? – спросил Ганувер.

– Это финал! – вскричал, выступая, Эстамп. – Три человека собрались ограбить вас под чужим именем. Каким образом, – вам известно.

– Молли, – сказал Ганувер, вздрогнув, но довольно спокойно, – и вы, капитан Орсуна! Прошу вас, уведите ее. Ей трудно быть сейчас здесь.

Он передал девушку, послушную, улыбающуюся, в слезах, мрачному капитану, который спросил: «Голубушка, хотите, посидим с вами немного?» – и увел ее. Уходя, она приостановилась, сказав: «Я буду спокойной. Я все объясню, все расскажу вам, – я вас жду.

Простите меня!»

Так она сказала, и я не узнал в ней Молли из бордингауза. Это была девушка на своем месте, потрясенная, но стойкая в тревоге и чувстве. Я подивился также самообладанию Галуэя и Дигэ; о Томсоне трудно сказать что-нибудь определенное: услышав, как заговорил Дюрок, он встал, заложил руки в карманы и свистнул.

Галуэй поднял кулак в уровень с виском, прижал к голове и резко опустил. Он растерялся лишь на одно мгновение. Шевеля веером у лица, Дигэ безмолвно смеялась, продолжая сидеть. Дамы смотрели на нее, кто в упор, с ужасом, или через плечо, но она, как бы не замечая этого оскорбительного внимания, следила за Галуэем.

Галуэй ответил ей взглядом человека, получившего удар по щеке.

– Канат лопнул, сестричка! – сказал Галуэй.

– Ба! – произнесла она, медленно вставая, и, притворно зевнув, обвела бессильно высокомерным взглядом толпу лиц, взиравших на сцену с молчаливой тревогой.

– Дигэ, – сказал Ганувер, – что это? Правда? Она пожала плечами и отвернулась.

– Здесь Бен Дрек, переодетый слугой, – заговорил Дюрок. – Он установил тождество этих людей с героями шантажной истории в Ледингенте. Дрек, где вы? Вы нам нужны!

Молодой слуга, с черной прядью на лбу, вышел из толпы и весело кивнул Галуэю.

– Алло, Тренк! – сказал он. – Десять минут тому назад я переменял вашу тарелку.

– Вот это торжество! – вставил Томсон, проходя вперед всех ловким поворотом плеча. – Открыть имя труднее, чем повернуть стену. Ну, Дюрок, вы нам поставили шах и мат. Ваших рук дело!

– Теперь я понял, – сказал Ганувер. – Откройтесь! Говорите все. Вы были гостями у меня. Я был с вами любезен, клянусь, – я вам верил. Вы украли мое отчаяние, из моего горя вы сделали воровскую отмычку! Вы, вы, Дигэ, сделали это! Что вы, безумные, хотели от меня? Денег? Имени? Жизни?

– Добычи, – сказал Галуэй. – Вы меня мало знаете.

– Август, он имеет право на откровенность, – заметила вдруг Дигэ, – хотя бы в виде подарка. Знайте, – сказала она, обращаясь к Гануверу, и мрачно посмотрела на него, в то время как ее губы холодно улыбались, – знайте, что есть способы сократить дни человека незаметно и мирно. Надеюсь, вы оставите завещание?

– Да.

– Оно было бы оставлено мне. Ваше сердце в благоприятном состоянии для решительного опыта без всяких следов.

Ужас охватил всех, когда она сказала эти томительные слова. И вот произошло нечто, от чего я содрогнулся до слез; Ганувер пристально посмотрел в лицо Этель Мейер, взял ее руку и тихо поднес к губам. Она вырвала ее с ненавистью, отшатнувшись и вскрикнув.

– Благодарю вас, – очень серьезно сказал он, – за то мужество, с каким вы открыли себя. Сейчас я был как ребенок, испугавшийся темного угла, но знающий, что сзади него в другой комнате – светло. Там голоса, смех и отдых. Я счастлив, Дигэ – в последний раз я вас называю «Дигэ». Я расстаюсь с вами, как с гостьей и женщиной. Бен Дрек, дайте наручники!

Он отступил, пропустив Дрека. Дрек помахал браслетами, ловко поймав отбивающуюся женскую руку; запор звякнул, и обе руки Дигэ, бессильно рванувшись, отразили в ее лице злое мучение. В тот же момент был пойман лакеями пытавшийся увернуться Томсон и выхвачен револьвер у Галуэя. Дрек заковал всех.

– Помните, – сказал Галуэй, шатаясь и задыхаясь, – помните, Эверест Ганувер, что сзади вас не светло! Там не освещенная комната. Вы идиот.

– Что, что? – вскричал дон Эстебан.

– Я развиваю скандал, – ответил Галуэй, – и вы меня не ударите, потому что я окован. Ганувер, вы дурак! Неужели вы думаете, что девушка, которая только что была здесь, и этот дворец – совместимы? Стоит взглянуть на ее лицо. Я вижу вещи как они есть. Вам была нужна одна женщина, – если бы я ее бросил для вас – моя любовница, Этель Мейер; в этом доме она как раз то, что требуется. Лучше вам не найти. Ваши деньги понеслись бы у нее в хвосте диким аллюром. Она знала бы, как завоевать самую беспощадную высоту. Из вас, ничтожества, умеющего только грезить, обладая Голкондой, она свила бы железный узел, показала прелесть, вам неизвестную, растленной жизни с запахом гиацинта. Вы сделали преступление, отклонив золото от его прямой цели, – расти и давить, – заставили тигра улыбаться игрушкам, и все это ради того, чтобы бросить драгоценный каприз к ногам девушки, которая будет простосердечно смеяться, если ей показать палец! Мы знаем вашу историю. Она куплена нами и была бы зачеркнута. Была бы! Теперь вы ее продолжаете. Но вам не удастся вывести прямую черту. Меж вами и Молли станет двадцать тысяч шагов, которые нужно сделать, чтобы обойти все эти, – клянусь! – превосходные залы, – или она сама сделается Эмилией Ганувер – больше, чем вы хотите того, трижды, сто раз Эмилия Ганувер!

– Никогда! – сказал Ганувер. – Но двадцать тысяч шагов... Ваш счет верен. Однако я запрещаю говорить дальше об этом. Бен Дрек, раскуйте молодца, раскуйте женщину и того, третьего. Гнев мой улегся. Сегодня никто не должен пострадать, даже враги. Раскуйте, Дрек! – повторил Ганувер изумленному агенту. – Вы можете продолжать охоту, где хотите, но только не у меня.

– Хорошо, – ох! – Дрек, страшно досадуя, освободил закованных.

– Комедиант! – бросила Дигэ с гневом и смехом.

– Нет, – ответил Ганувер, – нет. Я вспомнил Молли. Это ради нее. Впрочем, думайте, что хотите. Вы свободны. Дон Эстебан, сделайте одолжение, напишите этим людям чек на пятьсот тысяч, и чтобы я их больше не видел!

– Есть, – сказал судовладелец, вытаскивая чековую тетрадь, в то время как Эстамп протянул ему механическое перо. – Ну, Тренк, и вы, мадам Мейер, – отгадайте: поза или пирог?

– Если бы я мог, – ответил в бешенстве Галуэй, – если бы я мог передать вам свое полнейшее равнодушие к мнению обо мне всех вас, – так как оно есть в действительности, чтобы вы поняли его и остолбенели, – я не колеблясь сказал бы: «Пирог» и ушел с вашим чеком, смеясь в глаза. Но я сбит. Вы можете мне не поверить.

– Охотно верим, – сказал Эстамп.

– Такой чек стоит всякой утонченности, – провозгласил Томсон, – и я первый благословляю наносимое мне оскорбление.

– Ну, что там... – с ненавистью сказала Дигэ.

Она выступила вперед, медленно подняла руку и, смотря прямо в глаза дон Эстебану, выхватила чек из руки, где он висел, удерживаемый концами пальцев. Дон Эстебан опустил руку и посмотрел на Дюрока.

– Каждый верен себе, – сказал тот, отвертываясь. Эстамп поклонился, указывая дверь.

– Мы вас не удерживаем, – произнес он. – Чек ваш, вы свободны, и больше говорить не о чем.

Двое мужчин и женщина, плечи которой казались сзади в этот момент пригнутыми резким ударом, обменялись вполголоса немногими словами и, не взглянув ни на кого, поспешно ушли. Они больше не казались живыми существами. Они были убиты на моих глазах выстрелом из чековой книжки. Через дверь самое далекое зеркало повторило движения удаляющихся фигур, и я, бросившись на стул, неудержимо заплакал, как от смертельной обиды, среди волнения потрясенной толпы, спешившей разойтись.

Тогда меня коснулась рука, я поднял голову и с горьким стыдом увидел ту веселую молодую женщину, от которой взял розу. Она смотрела на меня внимательно с улыбкой и интересом.

– О, простота! – сказала она. – Мальчик, ты плачешь потому, что скоро будешь мужчиной. Возьми этот, другой цветок на память от Камиллы Флерон!

Она взяла из вазы, ласково протянув мне, а я машинально сжал его – георгин цвета вишни. Затем я, также машинально, опустил руку в карман и вытащил потемневшие розовые лепестки, которыми боялся сорить. Дама исчезла. Я понял, что она хотела сказать этим, значительно позже.

Георгин я храню по сей день.

XIX

Между тем почти все разошлись, немногие оставшиеся советовались о чем-то по сторонам, вдалеке от покинутого стола. Несколько раз пробегающие взад и вперед слуги были задержаны жестами одиноких групп и беспомощно разводили руками или же давали знать пожатием плеч, что происшествия этого вечера для них совершенно темны. Вокруг тревожной пустоты разлетевшегося в прах торжества без восхищения и внимания сверкали из-за черных колонн покинутые чудеса золотой цепи. Никто более не входил сюда. Я встал и вышел. Когда я проходил третью по счету залу, замечая иногда удаляющуюся тень или слыша далеко от себя звуки шагов, – дорогу пересек Поп. Увидев меня, он встrepенулcя.

– Где же вы?! – сказал Поп. – Я вас ищу. Пойдемте со мной. Все кончилось очень плохо!

Я остановился в испуге, так что, спеша и опередив меня, Поп должен был вернуться.

– Не так страшно, как вы думаете, но чертовски скверно. У него был припадок. Сейчас там все, и он захотел видеть вас. Я не знаю, что это значит. Но вы пойдете, не правда ли?

– Побежим! – вскричал я. – Ну, ей, должно быть, здорово тяжело!

– Он оправится, – сказал Поп, идя быстрым шагом, но как будто топтался на месте – так я торопился сам. – Ему уже значительно лучше. Даже немного посмеялись. Знаете, он запустил болезнь и никому не пикнул об этом! Вначале я думал, что мы все виноваты. А вы как думаете?

– Что же меня спрашивать? – возразил я с обидой. – Ведь я знаю менее всех!

– Н е о ч е н ь виноваты, – продолжал он, обходя мой ответ. – В чем-то не виноваты, это я чувствую. Ах, – как он радовался! Тс! Это его спальня.

Он постучал в замкнутую высокую дверь, и, когда собирался снова стучать, Эстамп открыл изнутри, немедленно отойдя и договаривая в сторону постели прерванную нашим появлением фразу – «...поэтому вы должны спать. Есть предел впечатлениям и усилиям. Вот пришел Санди».

Я увидел прежде всего сидящую у кровати Молли; Ганувер держал ее руку, лежа с высоко поднятой подушками головой. Рот его был полураскрыт, и он трудно дышал, говоря с остановками, негромким голосом. Между краев расстегнутой рубашки был виден грудной компресс.

В этой большой спальне было так хорошо, что вид больного не произвел на меня тяжелого впечатления. Лишь присмотревшись к его как бы озаренному тусклым светом лицу, я почувствовал скверное настроение минуты.

У другого конца кровати сидел, заложив ногу на ногу, Дюрок, дон Эстебан стоял посередине спальни. У стола доктор возился с лекарствами. Капитан Орсуна ходил из угла в угол, заложив за широкую спину обветренные, короткие руки. Молли была очень нервна, но улыбалась, когда я вошел.

– Сандерсончик! – сказала она, блеснув на момент живостью, которую не раздавило ничто. – Такой был хорошенький в платочке! А теперь... Фу!.. Вы плакали?

Она замахала на меня свободной рукой, потом поманила пальцем и убрала с соседнего стула газету.

– Садитесь. Пустите мою руку, – сказала она ласково Гануверу. – Вот так! Сядем все чинно.

– Ему надо спать, – резко заявил доктор, значительно взглядывая на меня и других.

– Пять минут, Джонсон! – ответил Ганувер. – Пришла одна живая душа, которая тоже, я думаю, не терпит одиночества. Санди, я тебя позвал, – как знать, увидимся ли мы еще с тобой? – позвал на пару дружеских слов. Ты видел весь этот кошмар?

– Ни одно слово, сказанное там, – произнес я в лучшем своем стиле потрясенного взрослого, – не было так глубоко спрятано и запомнено, как в моем сердце.

– Ну, ну! Ты очень хвастлив. Может быть, и в моем также. Благодарю тебя, мальчик, ты мне тоже помог, хотя сам ты был как птица, не знающая, где сядет завтра.

– Ох, ох! – сказала Молли. – Ну как же он не знал? У него есть на руке такая надпись, – хотя я и не видела, но слышала.

– А вы?! – вскричал я, задетый по наболевшему месту устами той, которая должна была пощадить меня в эту минуту. – Можно подумать, – как же, – что вы очень древнего возраста! – Испугавшись собственных слов, едва я удержался сказать лишнее, но мысленно повторял: «Девчонка! Девчонка!»

Капитан остановился ходить, посмотрел на меня, щелкнул пальцами и грузно сел рядом.

– Я ведь не спорю, – сказала девушка, в то время как затихал смех, вызванный моей горячностью. – А может быть, я и правда старше тебя!

– Мы делаемся иногда моложе, иногда – старше, – сказал Дюрок.

Он сидел в той же позе, как на «Эспаньоле», отставив ногу, откинувшись, слегка опустив голову, а локоть положив на спинку стула.

– Я шел утром по береговому песку и услышал, как кто-то играет на рояле в доме, где я вас нашел, Молли. Точно так было семь лет тому назад, почти в той же обстановке. Я шел тогда к девушке, которой более нет в живых. Услышав эту мелодию, я остановился, закрыл глаза, заставил себя перенестись в прошлое и на шесть лет стал моложе.

Он задумался. Молли взглянула на него украдкой, потом, выпрямившись и улыбаясь, повернулась к Гануверу.

– Вам очень больно? – сказала она. – Быть может, лучше, если я тоже уйду?

– Конечно, нет, – ответил он. – Санди, Молли, которая тебя так сейчас обидела, была худым черномазым птенцом на тощих ногах всего только четыре года назад. У меня не было ни дома, ни ночлега. Я спал в брошенном бараке.

Девушка заволновалась и завертелась.

– Ах, ах! – вскричала она. – Молчите, молчите! Я вас прошу. Остановите его! – обратилась она к Эстампу.

– Но я уже оканчиваю, – сказал Ганувер, – пусть меня разразит гром, если я умолчу об этом. Она подсакивала, напевала, заглядывала в щель барака дня три. Затем мне были просунуты в дыру в разное время: два яблока, старый передник с печеным картофелем и фунт хлеба. Потом я нашел цепь.

– Вы очень меня обидели, – громко сказала Молли, – очень. – Немедленно она стала смеяться. – Там же и зарыли ее, эту цепь. Вот было жарко! Сандерс, вы чего молчите, позвольте спросить?

– Я ничего, – сказал я. – Я слушаю.

Доктор прошел между нами, взяв руку Ганувера.

– Еще минута воспоминаний, – сказал он, – тогда завтрашний день испорчен. Уйдите, прошу вас!

Дюрок хлопнул по колену рукой и встал. Все подошли к девушке – веселой или грустной? – трудно было понять, так тосковало, мгновенно освещаясь улыбкой или становясь внезапно рассеянным, ее подвижное лицо. Прощаясь, я сказал: «Молли, если я вам понадоблюсь, рассчитывайте на меня!..» – и, не дожидаясь ответа, быстро выскочил первый, почти не помня, как холодная рука Ганувера стиснула мою крепким пожатием.

На выходе сошлись все. Когда вышел доктор Джонсон, тяжелая дверь медленно затворилась. Ее щель сузилась, блеснула последней чертой и исчезла, скрыв за собой двух людей, которым, я думаю, нашлось поговорить кое о чем, – без нас и иначе, чем при нас.

– Вы тоже ушли? – сказал Джонсону Эстамп.

– Такая минута, – ответил доктор. – Я держусь мнения, что врач должен иногда смотреть на свою задачу несколько шире закона, хотя бы это грозило осложнениями. Мы не всегда знаем, что важнее при некоторых обстоятельствах – жизнь или смерть. Во всяком случае, ему пока хорошо.

Капитан, тихо разговаривая с Дюроком, удалился в соседнюю гостиную. За ними ушли дон Эстебан и врач. Эстамп шел некоторое время с Попом и со мной, но на первом повороте, кивнув, «исчез по своим делам», – как он выразился. Отсюда недалеко было в библиотеку, пройдя которую Поп зашел со мной в мою комнату и сел с явным изнеможением; я, постояв, сел тоже.

– Так вот, – сказал Поп. – Не знаю, засну ли сегодня.

– Вы их выследили? – спросил я. – Где же они теперь?

– Исчезли, как камень в воде. Дрек сбился с ног, подкарауливая их на всех выходах, но одному человеку трудно поспеть сразу к множеству мест. Ведь здесь двадцать выходов, толпа, суматоха, переполох, и, если они переоделись, изменив внешность, то вполне понятно, что Дрек сплеховал. Ну и он, надо сказать, имел дело с первостатейными артистами. Все это мы узнали потом, от Дрека. Дюрок вытащил его телеграммой; можете представить, как он торопился, если заказал Дреку экстренный поезд! Ну, мы поговорим в другой раз. Второй час ночи, а каждый час этих суток надо считать за три – так все устали. Спокойной ночи!

Он вышел, а я подошел к кровати, думая, не вызовет ли ее вид желания спать. Ничего такого не произошло. Я не хотел спать: я был возбужден и неспокоен. В моих ушах все еще стоял шум; отдельные разговоры без моего усилия звучали снова с характерными интонациями каждого говорящего. Я слышал смех, восклицания, шепот и, закрыв глаза, погрузился в мелькание лиц, прошедших передо мной за эти часы...

Лишь после пяти лет, при встрече с Дюроком я узнал, отчего Дигэ, или Этель Мейер, не смогла в назначенный момент сдвинуть стены и почему это вышло так молниеносно у Ганувера. Молли была в павильоне с Эстампом и женой слуги Паркера. Она сама захотела появиться ровно в двенадцать часов, думая, может быть, сильнее обрадовать Ганувера. Она опоздала совершенно случайно. Между тем, видя, что ее нет, Поп, дежуривший у подъезда, бросился в камеру, где были электрические соединения, и разъединил ток, решив, что, как бы ни было, но Дигэ не произведет предположенного эффекта. Он закрыл ток на две минуты, после чего Ганувер вторично отвел металлический завиток.

Эпилог

I

В 1915 году эпидемия желтой лихорадки охватила весь полуостров и прилегающую к нему часть материка. Бедствие достигло грозной силы; каждый день умирало по пятьсот и более человек.

Незадолго перед тем, в числе прочей команды вновь отстроенного парохода «Валкирия», я

был послан принять это судно от судостроительной верфи Ратнера и К° в Лисс, где мы и застряли, так как заболела почти вся нанятая для «Валкирии» команда. Кроме того, строгие карантинные правила по разным соображениям не выпустили бы нас с кораблем из порта ранее трех недель, и я, поселившись в гостинице на набережной Канье, частью скучал, частью проводил время с сослуживцами в буфете гостиницы, но более всего скитался по городу, надеясь случайно встретиться с кем-нибудь из участников истории, разыгравшейся пять лет назад во дворце «Золотая цепь».

После того, как Орсун утром на другой день после тех событий увез меня из «Золотой цепи» в Сан-Риоль, я еще не бывал в Лиссе – жил полным пансионером, и за меня платила невидимая рука. Через месяц мне написал Поп, – он уведомлял, что Ганувер умер на третий день от разрыва сердца и что он, Поп, уезжает в Европу, но зачем, надолго ли, а также что стало с Молли и другими, о том ничего не упомянул. Я много раз перечитал это письмо. Я написал также сам несколько писем, но у меня не было никаких адресов, кроме мыса Гардена и дона Эстебана. Эти письма я так и послал. В них я пытался разузнать адреса Попа и Молли, но, так как письмо в «Золотую цепь» было адресовано мной разом Эстампу и Дюроку, – ответа я не получил, может быть, потому, что они уже выехали оттуда. Дон Эстебан ответил; но ответил именно то, что не знает, где Поп, а адрес Молли не сообщает затем, чтобы я лишней раз не напомнил ей о горе своими посланиями. Под конец он советовал мне заняться моими собственными делами.

Итак, я больше никому не писал, но с возмущением и безрезультатно ждал писем еще месяца три, пока не додумался до очень простой вещи: что у всех довольно своих дел и забот, кроме моих. Это открытие было неприятно, но помогло мне наконец оторваться от тех тридцати шести часов, которые я провел среди сильнейших волнений и опасности, восхищения, тоски и любви. Постепенно я стал вспоминать «Золотую цепь» как отзвучавшую песню, но, чтобы ничего не забыть, потратил несколько дней на записывание всех разговоров и случаев того дня: благодаря этой старой тетрадке я могу теперь восстановить все доподлинно. Но еще много раз после того я видел во сне Молли и, кажется, был равнодушен к ней очень долго, так как сердце мое начинало биться ускоренно, когда где-нибудь слышал я это имя.

На второй день прибытия в Лисс я посетил тот закоулок порта, где стояла «Эспаньола», когда я удрал с нее. Теперь стояли там две американских шхуны, что не помешало мне вспомнить, как пронзительно гудел ветер ночью перед появлением Дюрока и Эстампа. Я навел также справки о «Золотой цепи», намереваясь туда поехать на свидание с прошлым, но хозяин гостиницы рассказал, что этот огромный дом взят городскими властями под лазарет и там помещено множество эпидемиков. Относительно судьбы дома в общем известно было лишь, что Ганувер, не имея прямых наследников и не оставив завещания, подверг тем все имущество длительному процессу со стороны сомнительных претендентов, и дом был заперт все время до эпидемии, когда, по его уединенности, найдено было, что он отвечает всем идеальным требованиям гигантского лазарета.

У меня были уже небольшие усы: начала также пушиться нежная борода, такая жалкая, что я усердно снимал ее бритвой. Иногда я с достоинством посматривал в зеркало, сжимал губы и двигал плечом, – плечи стали значительно шире.

Никогда не забывая обо всем этом, держа в уме своем изящество и молодцеватость, я проводил вечера либо в буфете, либо на бульваре, где облюбовал кафе «Тонус».

Однажды я вышел из кафе, когда не было еще семи часов, – я ожидал приятеля, чтобы идти вместе в театр, но он не явился, прислав подозрительную записку, – известно, какого рода, – а один я не любил посещать театр. Итак, это дело расстроилось. Я спустился к нижней аллее и прошел ее всю, а когда хотел повернуть к городу, навстречу мне попался старик в летнем пальто, котелке, с тросточкой, видимо, вышедший погулять, так как за его свободную руку

держалась девочка лет пяти.

– Паркер! – вскричал я, становясь перед ним лицом к лицу.

– Верно, – сказал Паркер, всматриваясь. Память его усиленно работала, так как лицо попеременно вытягивалось, улыбалось и силилось признать, кто я такой. – Что-то припоминаю, – заговорил он нерешительно, – но извините, последние годы плохо вижу.

– «Золотая цепь»! – сказал я.

– Ах, да! Ну, значит... Нет, разрази бог, – не могу вспомнить.

Я хлопнул его по плечу:

– Санди Прузель, – сказал я, – тот самый, который все знает!

– Паренек, это ты?! – Паркер склонил голову набок, просиял и умильно заторжествовал: – О, никак не узнать!

Форма к тебе идет! Вырос, раздвинулся. Ну что же, надо поговорить! А меня вот внучка таскает: «пойдем, дед, да пойдем», – любит со мной гулять.

Мы прошли опять в «Тонус» и заказали вино; девочке заказали сладкие пирожки, и она стала их анатомировать пальцем, мурлыча и болтая ногами, а мы с Паркером унеслись за пять лет назад. Некоторое время Паркер говорил мне «ты», затем постепенно проникся зрелищем перемены в лице изящного загорелого моряка, носящего штурманскую форму с привычной небрежностью опытного морского волка, – и перешел на «вы».

Естественно, что разговор был об истории и судьбе лиц, нам известных, а больше всего – о Молли, которая обвенчалась с Дюроком полтора года назад. Кроме того, я узнал, что оба они здесь и живут очень недалеко, – в гостинице «Пленэр», приехали по делам Дюрока, а по каким именно, Паркер точно не знал, но он был у них, оставшись очень доволен как приемом, так и угощением. Я был удивлен и рад, но больше рад за Молли, что ей не пришлось попасть в цепкие лапы своих братцев. С этой минуты мне уже не сиделось, и я машинально кивал, дослушивая рассказ старика. Я узнал также, что Паркер знал Молли давно, – он был ее дальним родственником с материнской стороны.

– А вы знаете, – сказал Паркер, – что она приезжала накануне того вечера, одна, тайно в «Золотую цепь» и что я ей устроил? Не знаете... Ну, так она приходила проститься с тем домом, который покойник выстроил для нее, как она хотела, – глупая девочка! – и разыскала меня, закутанная платком по глаза. Мы долго ходили там, где можно было ходить, не рассчитывая кого-нибудь встретить. Ее глаза разблестелись, – так была поражена, – известно, Ганувер размахнулся, как он один умел это делать. Да. Большое удовольствие было написано на ее лице, – на нее было вкусно смотреть. Ходила и замирала. Оглядывалась. Постукивала ногой. Стала тихонько петь. Вот, – а это было в проходе между двух зал, – наперерез двери прошла та авантюристка с Ганувером и Галуэем. Молли отошла в тень, и нас никто не заметил. Я взглянул, – совсем другой человек стоял передо мной. Я что-то заговорил, но она махнула рукой, – заторопилась, умолкла и не говорила больше ничего, пока мы не прошли в сад и не разыскали лодку, в которой она приехала. Прощаясь, сказала: «Поклянись, что никому не выдашь, как я ходила здесь с тобой сегодня». Я все понял, клятву дал, как она хотела, а про себя думал: «Вот сейчас я изложу ей все свои мнения, чтобы она выбросила эти мысли о Дигэ». И не мог. Уже пошел слух; я сам не знал, что будет, однако решился, а посмотрю на ее лицо, – нет охоты говорить, вижу по лицу, что говорить запрещает и уходит с обидой. Решался я так три раза и – не решился. Вот какие дела!

Паркер стал говорить дальше; как ни интересно было слушать обо всем, из чего вышли события того памятного вечера, нетерпение мое отправиться к Дюроку росло и разразилось тем, что, страдая и шевеля ногами под стулом, я, наконец, кликнул прислугу, чтоб расплатиться.

– Ну, что же, я вас понимаю, – сказал Паркер, – вам не терпится пойти в «Пленэр». Да и внучке пора спать. – Он снял девочку со стула и взял ее за руку, а другую руку протянул мне, сказав:

– Будьте здоровы!..

– До свидания! – закричала девочка, унося пирожки в пакете и кланяясь. – До свидания! спасибо! спасибо!

– А как тебя зовут? – спросил я.

– Молли! Вот как! – сказала она, уходя с Паркером. Праведное небо! Знал ли я тогда, что вижу свою будущую жену? Такую беспомощную, немного повыше стула?!

II

Волнение прошлого. Несчастен тот, кто недоступен этому изысканному чувству; в нем расстилается свет сна и звучит грустное удивление. Никогда, никогда больше не повторится оно! По мере ухода лет, уходит его осязаемость, меняется форма, пропадают подробности. Кажется так, хотя его суть та, – та самая, в которой мы жили, окруженные заботами и страстями. Однако что-то изменилось и в существе. Как человек, выросший лишь умом – не сердцем, может признать себя в портрете десятилетнего, – так и события, бывшие несколько лет назад, изменяются вместе с нами и, заглянув в дневник, многое хочется переписать так, как ощущаешь теперь. Поэтому я осуждаю привычку вести дневник. Напрасная трата времени!

В таком настроении я отправил Дюроку свою визитную карточку и сел, читая газету, но держа ее вверх ногами. Не прошло и пяти минут, а слуга уже вернулся, почти бегом.

– Вас просят, – сказал он, и я поднялся в бельэтаж с замиранием сердца. Дверь открылась, – навстречу мне встал Дюрок. Он был такой же, как пять лет назад, лишь посеребрились виски. Для встречи у меня была приготовлена фраза: «Вы видите перед собой фигуру из мрака прошлого и, верно, с трудом узнаете меня, так я изменился с тех пор», – но, сбившись, я сказал только: «Не ожидали, что я приду?»

– О, здравствуй, Санди! – сказал Дюрок, вглядываясь в меня. – Наверно, ты теперь считаешь себя старцем, для меня же ты прежний Санди, хотя и с петушиным баском. Отлично! Ты дома здесь. А Молли, – прибавил он, видя, что я оглядываюсь, – вышла; она скоро придет.

– Я должен вам сказать, – заявил я, впадая в прежнее свое легкомыслие искренности, – что я очень рад был узнать о вашей женитьбе. Лучшую жену, – продолжал я с неуместным и сбивающим меня самого жаром, – трудно найти. Да, трудно! – вскричал я, желая говорить сразу обо всем и бессильный соскочить с первой темы.

– Ты много искал, сравнивал? У тебя большой опыт? – спросил Дюрок, хватая меня за ухо и усаживая. – Молчи. Учись, войдя в дом, хотя бы и после пяти лет, сказать несколько незначительных фраз, ходящих вокруг и около з н а ч и т е л ь н о г о, а потому как бы значительных.

– Как?! Вы меня учите?...

– Мой совет хорош для всякого места, где тебя еще не знали болтливым и запальчивым мальчуганом. Ну, хорошо. Выкидывай свои пять лет. Звонок около тебя, протяни руку и позвони.

Я рассказал ему приключения первого моряка в мире, Сандерса Пруэля из Зурбагана (где родился), под самым лучшим солнцем, наиярчайше освещающим только мою фигуру, видимую всем, как статуя Свободы, – за шестьдесят миль.

В это время прислуга внесла замечательный старый ром, который мы стали пить из фарфоровых стопок, вспоминая происшествия на Сигнальном Пустыре и в «Золотой цепи».

– Хорошая была страница, правда? – сказал Дюрок. Он задумался, его выразительное, твердое лицо отразило воспоминание, и он продолжал: – Смерть Ганувера была для всех нас неожиданностью. Нельзя было подумать. Были приняты меры. Ничто не указывало на печальный исход. Очевидно, его внутреннее напряжение разразилось с большей силой, чем думали мы. За три часа до конца он сидел и говорил очень весело. Он не написал завещания, так как верил, что, сделав это, приблизит конец. Однако смерть уже держала свою руку на его голове. Но, – Дюрок взглянул на дверь, – при Молли я не буду поднимать более разговора об этом, – она плохо спит, если поговорить о тех днях.

В это время раздался легкий стук, дверь слегка приоткрылась и женский голос стал выговаривать рассудительным нежным речитативом: «Настой-чи-во про-ся впус-тить, нель-зя ли вас преду-пре-дить, что э-то я, ду-ша мо-я...»

– Кто там? – притворно громко осведомился Дюрок.

– При-шла оч-ко-вая змея, – закончил голос, дверь раскрылась, и вбежала молодая женщина, в которой я тотчас узнал Молли. Она была в костюме пепельного цвета и голубой шляпе. При виде меня ее смеющееся лицо внезапно остыло, вытянулось и снова вспыхнуло.

– Конечно, я вас узнала! – сказала она. – С моей памятью, да не узнать подругу моих юных дней?! Сандерсончик, ты воскрес, милый?! Ну, здравствуй, и прости меня, что я сочиняла стихи, когда ты, наверно, ждал моего появления. Что, уже выпиваете? Ну, отлично, я очень рада, и... и... не знаю, что еще вам сказать. Пока что я сяду.

Я заметил, как смотрел на нее Дюрок, и понял, что он ее очень любит; и оттого, как он наблюдал за ее рассеянными, быстрыми движениями, у меня родилось желание быть когда-нибудь в его положении.

С приходом Молли общий разговор перешел, главным образом, на меня, и я опять рассказал о себе, затем осведомился, где Поп и Эстамп. Молли без всякого стеснения говорила мне «ты», как будто я все еще был прежним Санди, да и я, присмотревшись теперь к ней, нашел, что хотя она стала вполне развившейся женщиной, но сохранила в лице и движениях три четверти прежней Молли. Итак, она сказала:

– Попа ты не узнал бы, хотя и «все знаешь»; извини, но я очень люблю дразниться. Поп стал такой важный, такой положительный, что хочется выйти вон! Он ворочает большими делами в чайной фирме. А Эстамп – в Мексике. Он поехал к больной матери; она умерла, а Эстамп влюбился и женился. Больше мы его не увидим.

У меня были желания, которые я не мог выполнить, и беспредельно томился ими, улыбаясь и разговаривая как заведенный. Мне хотелось сказать: «Вскрикнем, – увидимся и ужаснемся, – потонем в волнении прошедшего пять лет назад дня, вернем это острое напряжение всех чувств! Вы, Молли, для меня – первая светлая черта женской юности, увенчанная смехом и

горем, вы, Дюрок, – первая твердая черта мужества и достоинства! Я вас встретил внезапно. Отчего же мы сидим так сдержанно? Отчего наш разговор так стиснут, так отвлечен?» Ибо перебегающие разговоры я ценил мало. Жар, страсть, слезы, клятвы, проклятия и рукопожатия, – вот что требовалось теперь мне!

Всему этому – увы! – я тогда не нашел бы слов, но очень хорошо чувствовал, чего не хватает. Впоследствии я узнал, отчего мы мало вспоминали втроем и не были увлечены прошлым. Но и теперь я заметил, что Дюрок правит разговором, как штурвалом, придерживая более к прохладному северу, чем к пылкому югу.

– Кто знает?! – сказал Дюрок на ее «не увидим». – Вот Сандерс Пруэль сидит здесь и хмелеет мало-помалу. Встречи, да еще неожиданные, происходят чаще, чем об этом принято думать. Все мы возвращаемся на старый след, кроме...

– Кроме умерших, – сказал я глупо и дико. Иногда держишь в руках хрупкую вещь, рассеянно вертишь ее, как – хлоп! – она треснула. Молли призадумалась, потом шаловливо налила мне рома и стала напевать, сказав: «Вот это я сейчас вам сыграю». Вскочив, она ушла в соседнюю комнату, откуда загредел бурный бой клавиш. Дюрок тревожно оглянулся ей вслед.

– Она устала сегодня, – сказал он, – и едва ли вернется. – Действительно, во все возрастающем громе рояля слышалось упорное желание заглушить иной ритм. – Отлично, – продолжал Дюрок, – пусть она играет, а мы посидим на бульваре. Для такого предприятия мне не найти лучшего спутника, чем ты, потому что у тебя живая душа.

Уговорившись, где встретимся, я выждал, пока затихла музыка, и стал уходить. – «Молли! Санди уходит», – сказал Дюрок. Она тотчас вышла и начала упрашивать меня приходить часто и «не вовремя»: «Тогда будет видно, что ты друг». Потом она хлопнула меня по плечу, поцеловала в лоб, сунула мне в карман горсть конфет, разыскала и подала фуражку, а я поднес к губам теплую, эластичную руку Молли и выразил надежду, что она будет находиться в добром здравье.

– Я постараюсь, – сказала Молли, – только у меня бывают головные боли, очень сильные. Не знаешь ли ты средства? Нет, ты ничего не знаешь, ты лгун со своей надписью! Отправляйся!

Я больше никогда не видел ее. Я ушел, запомнив последнюю виденную мной улыбку Молли, – так, средней веселости, хотя не без юмора, и направился в «Портовый трибун», – гостиницу, где должен был подождать Дюрока и где, к великому своему удивлению, обрел дядюшку Гро, размахивающего стаканом в кругу компании, восседающей на стульях верхом.

III

Составьте несколько красных клиньев из сырого мяса и рыжих конских волос, причем не надо заботиться о направлении, в котором торчат острия, разрежьте это сцепление внизу поперечной щелью, а сверху вставьте пару гнилых орехов, и вы получите подобие физиономии Гро.

Когда я вошел, со стула из круга этой компании, вскочил, почесывая за ухом, матрос и сказал подошедшему с ним товарищу: «А ну его! Опять врет, как выборный кандидат!»

Я смотрел на Гро с приятным чувством безопасности. Мне было интересно, узнает ли он меня. Я сел за стол, бывший по соседству с его столом, и нарочно громко потребовал

холодного пунша, чтобы Гро обратил на меня внимание. Действительно, старый шкипер, как ни был увлечен собственными повествованиями, обернулся на мой крик и печально заметил:

– Штурман шумит. То-то, поди, денег много!

– Много ли или мало, – сказал я, – не вам их считать, почтеннейший шкипер!

Гро несочувственно облизал языком усы и обратился к компании.

– Вот, – сказал он, – вот вам живая копия Санди Пруэля! Так же отвечал, бывало, и вечно дерзил. Смею спросить, нет ли у вас брата, которого зовут Сандерс?

– Нет, я один, – ответил я, – но в чем дело?

– Очень вы похожи на одного молодца, разрази его гром! Такая неблагодарная скотина! – Гро был пьян и стакан держал наклонно, поливая вином штаны. – Я обращался с ним как отец родной и воистину отогрел змею! Говорят, этот Санди теперь разбогател, как набоб; про то мне неизвестно, но что он за одну штуку получил, воспользовавшись моим судном, сто тысяч банковыми билетами, – в этом я и сейчас могу поклясться мачтами всего света!

На этом месте часть слушателей ушла, не желая слышать повторения бредней, а я сделал вид, что очень заинтересован историей. Тогда Гро напал на меня, и я узнал о похождениях Санди Пруэля. Вот эта история.

Пять лет назад понадобилось тайно похоронить родившегося от незаконной любви двухголового человека, росшего в заточении и умершего оттого, что одна голова засохла. Ради этого, подкупив матроса Санди Пруэля, неизвестные люди связали Санди, чтобы на него не было подозрения, и вывезли труп на мыс Гардена, где и скрыли его в обширных склепах «Золотой цепи». За это дело Санди получил сто тысяч, а Гро только пятьсот пиастров, правда, золотых, – но, как видите, очень мало по сравнению с гонораром Санди. Вскорости труп был вынут, покрыт лаком и оживлен электричеством, так что стал как живой отвечать на вопросы и его до сих пор выдают за механическую фигуру. Что касается Санди, – он долго был известен на полуострове как мот и пьяница и был арестован в Зурбагане, но скоро выпущен за большие деньги.

На этом месте легенды, имевшей, может быть, еще более поразительное заключение (как странно, даже жутко было мне слышать ее!), вошел Дюрок. Он был в пальто, шляпе и имел поэтому другой вид, чем ночью, при начале моего рассказа, но мне показалось, что я снова погружаюсь в свою историю, готовую начаться сызнова. От этого напала на меня непонятная грусть. Я поспешно встал, покинул Гро, который так и не признал меня, но, видя, что я ухожу, вскричал:

– Штурман, эй, штурман! Один стакан Гро в память этого свинтуса Санди, разорившего своего шкипера!

Я подозвал слугу и в присутствии Дюрока, с любопытством следившего, как я поступлю, заказал для Гро и его собутыльников восемь бутылок портвейна. Потом, хлопнув Гро по плечу так, что он отшатнулся, – сказал:

– Гро, а ведь я и есть Санди!

Он мотнул головой, всхлипнул и уставился на меня. Наступило общее молчание.

– Восемь бутылок, – сказал наконец Гро, машинально шаря в кармане и рассматривая мои колени. – Врешь! – вдруг закричал он. Потом Гро сник и повел рукой, как бы отстраняя трудные мысли.

– А, – может быть!.. Может быть... – забормотал Гро. – Гм... Санди! Все может быть! Восемь бутылок, буты...

На этом мы покинули его, вышли и прошли на бульвар, где сели в каменную ротонду. Здесь слышался отдаленный плеск волн; на другой аллее, повыше, играл оркестр. Мы провели славный вечер и обо всем, что здесь рассказано, вспомнили и переговорили со всеми подробностями. Потом Дюрок распрощался со мной и исчез по направлению к гостинице, где жил, а я, покуривая, выпивая и слушая музыку, ушел душой в Замечательную Страну и долго смотрел в ту сторону, где был мыс Гардена. Я размышлял о словах Дюрока про Ганувера: «Его ум требовал живой сказки; душа просила покоя». Казалось мне, что я опять вижу внезапное появление Молли перед нарядной толпой и слышу ее прерывистые слова:

– Это я, милый! Я пришла, как обещала! Не грустите теперь!